

Эшколь Нево

ТОСКА ПО ДОМУ

Глубоко
человечная история,
наполненная
грустью и надеждой.

Jerusalem Post



Эшколь Нево

Тоска по дому

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67317789

«Синдбад»; 2022

ISBN 978-5-00131-425-7

Аннотация

Влюбленные Амир и Ноа решают жить вместе. Он учится в университете Тель-Авива, она – в художественной школе в Иерусалиме, поэтому их выбор останавливается на небольшой квартирке в поселении, расположенном как раз посередине между двумя городами...

Это книга о том, как двое молодых людей начинают совместную жизнь, обретают свой первый общий дом. О том, как в этот дом, в их жизнь проникают жизни других людей – за тонкой стеной муж с женой конфликтуют по поводу религиозного воспитания детей; соседи напротив горюют об утрате погибшего в Ливане старшего сына, перестав уделять внимание так нуждающемуся в нем младшему; со стройки чуть ниже по улице за их домом пристально наблюдает пожилой рабочий-палестинец, который хорошо помнит, что его семью когда-то из него выселили...

«Тоска по дому» – красивая, умная, трогательная история о стране, о любви, о семье и о значении родного дома в жизни человека.

Содержание

Пролог	8
Дом первый	9
Песня	80
Дом второй	82
Конец ознакомительного фрагмента.	143

Эшколь Нево

Тоска по дому

Eshkol Nevo

Arba'a Batim Ve-Ga'aqua

HOMESICK

Copyright © Eshkol Nevo, 2004

Published in the Russian language by arrangement with The
Institute for the Translation of Hebrew Literature

Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2021



Издание осуществлено при содействии Посольства Государства Израиль в Российской Федерации по случаю 30-летия возобновления дипломатических отношений между Израилем и Россией

Published with the assistance of the Embassy of the State of Israel to the Russian Federation on the occasion of the 30th anniversary of the restoration of Israeli-Russian diplomatic relations.

Перевод с иврита Виктора Радущкого

Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Корпус Права»

Korpus Prava

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2021

* * *

ЭШКОЛЬ НЕВО

ТОСКА ПО ДОМУ

Перевод с иврита Виктора Радуцкого

Моим родителям

Пролог

В конце концов он вытащил всю оставшуюся мебель на улицу. Приятель должен был подогнуть пикап и забрать ее. А тем временем он ждал. Уселся на кушетку. Очистил задохший апельсин. Погрыз корку. Сосед мыл машину, с особой тщательностью поливая бампер. В детстве, вспомнилось ему, он, разглядывая стекавшие с машин потоки воды, стремился определить, какой из них первым достигнет земли. Он посмотрел на часы. Четверть второго. Приятель уже опаздывает на двадцать минут. На него это не похоже. Возможно, стоит пока что расставить мебель так, как она стояла в гостиной. А может быть, и нет.

Женщина, которой он однажды помог донести пакеты из продуктовой лавки, прошла между кушетками, посмотрела на него долгим взглядом и улыбнулась.

Другая женщина, зацепившись ногой за тумбочку, проворчала:

– Загородил весь тротуар.

Дом первый

Топографически речь идет о седловине. Два горба, а посередине – торговый центр, общий для всех. Один горб – ухоженный, аккуратный Мевасерет, где живут ашкеназы. Второй горб был когда-то временным лагерем новых репатриантов из Курдистана. Теперь здесь в основном царит беспорядок. Бараки соседствуют с виллами, руины – с цветами, заброшенные улицы. Официальное название Маоз-Цион. Неофициально все называют его Кастель, то есть замок. По имени укрепленного пункта на вершине горы, где во время Войны за независимость пали бойцы, отбив его у арабов; теперь это мемориал в память наших павших солдат. На въезде, сразу после светофора, вы увидите «Дога и сыновья», небольшой минимаркет. Там, говорят, лучше всего спросить, если имеются вопросы.



Случайная выборка объявлений на доске рядом с «Дога и сыновья»: курс практической Каббалы, специальные цены по случаю открытия. Праздник скаутов Маоз-Циона переносится. Косметолог с большим опытом посещает клиентов на дому. Студент-отличник, изучающий математику, помо-

жет вашим детям готовить уроки. Общественность приглашается на вечер, который проводит раввин Амнон Ицхак, возвращающий заблудших на путь праведный. Мероприятие состоится при любой погоде.



Человек, которого они спросили в минимаркете «Дога и сыновья», ошибся, и Амир и Ноа оказались не в квартире, сдававшейся в аренду, а в доме скорбящих. Крупная женщина плакала. Другие женщины входили с серебряными подносами. Никто ими не интересовался, но было как-то неловко сразу уйти. В углу дивана, прижавшись друг к другу, они, склонив головы, слушали рассказы о сыне, погибшем в Ливане, отведали малую толику поднесенной им пахлавывы и иногда украдкой поглядывали на часы. Амир, заламывая пальцы, думал: «Вот и выпала возможность быть печальным демонстративно. Может быть, именно здесь можно отдохнуть от натуги выглядеть счастливым, позволить черным чернилам, на протяжении многих лет извергаемым каракатицей печали, растечься без помех по всему телу». Ноа играла своими волосами и думала: «Мне нужно в туалет». И еще: «Интересно, как траур и скорбь вселяют в людей голод».

Спустя ровно час они поднялись, склонили головы перед крупной женщиной, проложили себе дорогу меж стульями и

коленями и отправились искать квартиру.

Хотя и азарт поиска, и ощущение чрезвычайной ситуации, прежде направлявшие их шаги, как-то поубавились.



В квартире было две комнаты. Гостиная размером с кухню. Кухня размером с ванную. Ванная со шваброй, чтобы убирать воду, попадающую на пол, когда пользуешься душем. Но их все это совершенно не волновало. И даже то, что хозяин квартиры живет прямо за стеной, а от неба их отделяет только крыша из асбеста. Они решили жить вместе, чего бы это ни стоило. Хотя он изучает психологию в Тель-Авиве, а она вообще обучается искусству фотографии в Иерусалиме. «Маоз-Цион – неплохой компромисс, – сказала она. – Если учесть, что у тебя есть машина. И здесь мне нравится свет, – добавила она, – в нем есть некая ... умеренная радость». Он взял ее за палец, подвел к окну и сказал: «Можно здесь устроить палисадник». А хозяин квартиры, чувствуя, что решение вот-вот будет принято, приблизился к ним и сладко произнес: «Здесь не так, как в городе, проблем с парковкой здесь нет».



Месяцем ранее, когда мы еще колебались, мне приснился сон. Я толкаю тяжелый грузовик по дороге в Иерусалим, толкаю его сзади, как супермен: от Лода до Модиина, от Модиина до Латруна и далее. Сначала я бегу, шаги мои легки, грузовик летит вперед, и ветер рассеивает мои тревоги, но после въезда в Шаар ха-Гай, когда дорога в Иерусалим становится все круче, я вдруг совсем не по-суперменски начинаю потеть и тяжело дышать. На ровном участке, до того, как подняться на Кастель, я уже с трудом глотаю воздух, а грузовик едва-едва ползет. Машины гудят мне, дети в окнах указывают на меня пальцем и хохочут, а я, несмотря ни на что, продолжаю, верный какому-то настойчивому внутреннему приказу, и из последних сил докатываю грузовик до самой вершины, до моста, ведущего в Мевасерет. И тут, когда я останавливаюсь отдышаться и, на минуту убрав руку с грузовика, утираю пот со лба, машина начинает скатываться вниз. Прямо на меня. Я пытаюсь остановить грузовик, наваливаюсь на него всем весом своего тела, но это не помогает. Мои сверхчеловеческие силы разом оставляют меня, и теперь я просто человек, пытающийся остановить грузовик, вес которого стократно превышает мой собственный. С каждой секундой машина набирает ускорение. Ошалевшие от ужаса автомобили, увернувшись буквально в последнюю секунду, чудом избегают столкновения. Столб на остановке автобуса сгибается в дугу под напором грузовика. А я бегу

задом наперед, пытаясь задержать его слабыми толчками и выставляя вперед ногу, как это делают, когда хотят растянуть мышцы. Несмотря на мои смехотворные усилия, катастрофа – и мне это совершенно ясно даже во сне – неизбежна. И действительно, в конце спуска, прямо перед Абу Гошем, это происходит. Грузовик врывается в машину, которая врывается в машину, которая врывается в бетонный разделительный забор между полосами движения. Искореженное железо, изуродованные части тела, мозаика из стекла и крови. Конец.

Когда я проснулся, охваченный ужасом, мне показалось, что я понял сон.

Я позвонил Ноа и объявил ей:

– Жить вместе – да! Ближе к Иерусалиму – да! Но не за Мевасеретом.



– А, да, есть еще кое-что, – сказал хозяин квартиры, перед тем как мы намеревались подписать договор, и Ноа подумала, что он собирается говорить с ними о налоге на недвижимость или еще о чем-то подобном. – Соседи... – Он немного понизил голос и указал на ближайший дом. – Их сын погиб в Ливане на этой неделе. Так что если вы хотите поставить музыку, то уж пусть будет, так сказать, что-нибудь спокой-

ное.

– Понятно, – сказал Амир, – вам не о чем беспокоиться, мы ни в коем случае не создадим им никаких проблем.

– И кроме того, господин Закиян, – добавила Ноа, – вы нас еще не знаете, но мы пара тихая. Очень.



В конце концов я заплакал, но совсем не потому, что все подумали, вот, мой старший брат Гиди погиб, хотя я его очень люблю, у меня в горле драло, оно огнем горело после того, как солдаты пришли среди ночи, направились к маме, и она стала кричать, а потому, что вдруг мне все надоело, в один миг, поскольку никто не обращает на меня внимания. Все началось с того, что я порезал палец, когда готовил салат людям, пришедшим скорбеть с нами, из-за лука, который делает туман в глазах, не видно, где палец, а где нож. Потекла кровь и заполнила пространство между ногтем и кончиком подушечки, меня мама учила, что именно так называют эту часть пальца, а папа, который ничего не делает, только возится со своей трубкой и молчит вместе с дядей Менаше, сказал:

– Ты не видишь, я занят, Йотам, и что ты из этого делаешь целую историю, всего лишь маленькая ранка, и куда подевался пластырь, ступай к маме, спроси, где пластырь.

Но мама была погружена в свои «Гиди, ой, Гиди», а вокруг сидели все ее подруги, пытавшиеся ее успокоить, и, чтобы к ней подойти, необходимо было долго пробираться, минуя все их стулья, и тогда я стал просто в углу гостиной за каким-то стулом, не зная, то ли вернуться к папе, то ли пробиться через всех, кто окружал маму, а кровь тем временем залила мне всю руку, что выглядело довольно страшно. Хотя я совсем не трус, но вдруг, прежде чем я сумел справиться с этим, проглотить слезы, как я иногда делаю, когда меня обижают в классе, я заплакал, но не захныкал тихонько, а рыдался, как младенец, и все тетушки, понятное дело, тут же вскочили, окружили меня со всех сторон, и мама крепко меня обняла, и тетя Мириам, мамина сестра, побежала за пластырем, и все они начали шептать друг другу, мол, бедняжка, они были очень привязаны друг к другу и кричали Мириам, чтобы поторопилась, а парень с телевидения, спрашивавший во дворе дядю Амирама, который был официальным представителем нашей семьи, потому что папа и мама вообще не хотели говорить, а Амирам руководит отделом в Электрической компании и умеет говорить, – тут телевизионщик, по-видимому, услышал, что в доме что-то происходит, вошел в дом со своим ассистентом с телекамерой и попытался сунуть маме микрофон прямо в рот. Но дядя Амирам помчался за ним, схватился за голову:

– Что же вы делаете, что делаете? Ведь договорились же, что вы в доме не снимаете...

А тетушки закричали:

– Вышвырнуть его вон отсюда, пиявки, стыда у вас нет.

И стали выталкивать мужика с телекамерой, уперлись ладонями в его грудь и толкали, пока не вытолкали за порог вместе с его огромной телекамерой. А потом стали выговаривать дяде Амираму:

– Чего это ты вдруг дал им войти в дом?

А он и говорит:

– Нет, я не давал, они просто обошли меня и вломились, холера их забери.

Но тут вернулась тетя Мириам с пластырем и осторожно перевязала мне палец, совсем не было больно, погладила меня по голове и по щеке и прошептала прямо в ухо:

– Я приготовлю салат, ладно?



Когда говорят «домовладелец», то представляешь себе человека взрослого, авторитетного и нудного. Но Моше Закиян совсем не такой. Он всего лишь на два года старше Амира (хотя женат на Симе и отец двух детей). Водит автобус компании «Эгед», немного лысоват, у него небольшое брюшко поверх брюк. Умеет все починить: замки, электрику, засорившуюся канализацию.

Немногословен, предпочитает делать дело. И без ума от

своей жены Симы. Любой может заметить, что он всегда смотрит на нее с нежностью, будто она кинозвезда, не меньше. Всегда делает то, что она говорит. Кивает головой в знак согласия с ее словами. А она говорунья, чтоб не сглазить. Остра на язык. Ясный ум.

– Вам приятно будет жить у нас в Кастеле, – говорит она, когда Амир и Ноа прибывают с вещами, – я уверена. Здесь все знают всех, все как одна семья. И у вас будет тишина, чтобы учиться. Я, – она смотрит в глаза Ноа, – совсем не так проста, как кажется. Я тоже училась. На бухгалтера. Но сейчас бросила, из-за детей, что поделаешь.



В течение двух-трех дней мы обустроили квартиру. Что уж там нам было нужно? Совсем немного. Кушетка от моего дяди, письменный стол от ее родителей, несколько стульев от приятелей, поделки и украшения, накопленные нами врозь, в наших предыдущих квартирах, на стенах фотографии в рамках, сделанные Ноа, матрас с пятнами, следами любовных утех, телевизор с неисправной кнопкой регулировки цвета. Вот и все. После всех наших коммунальных хибар со спорами по поводу счетов за свет, газ и воду мы в первые дни чувствовали себя, словно во дворце. Королева и король. Мужчина и женщина. Можно говорить по телефону

сколько влезет. Можно набить холодильник любимой едой. Можно расхаживать по дому в трусах и без них. Можно заниматься любовью в любом месте нашего дома, не опасаясь, что сосед по комнате придет раньше, чем условились. Только прежде надо закрыть жалюзи. У соседей напротив еще не закончились тридцать дней траура, а нам не стоит делать то, что несовместимо со скорбью.



Прошло слишком мало времени. Эта история все еще кипит и бурлит.

Единственный способ к ней прикоснуться – это окунуть в нее палец.

И отдернуть без промедления.



Первая фотография в альбоме вовсе не свидетельствует о том, что Амир и я вместе. Я имею в виду «вместе» в смысле «пара», друзья не разлей вода. Моди сделал этот снимок, я думаю, у тайного источника в ущелье пересыхающего ручья Драгот. Моди щелкнул внезапно, не просил сказать: «Чииз», чтобы запечатлеть улыбку, не предложил принять «позу», а

это как раз именно то, что мне нравится. Хотя и экспозиция слишком велика, да и фокус далек от идеального. Все выглядят довольно усталыми, но это приятная усталость после долгого похода. Янив лежит с шляпой на лице. Яэль, которая тогда была его девушкой, положила голову на его живот, рассыпав свои локоны, и один из них, отделившись, касается земли. Амихай передает армейскую флягу Ниру, чьи красные щеки свидетельствуют, что он в ней нуждается. Хилá, та, что позвала меня в этот поход, – «не для того чтобы знакомиться с мальчиками, с чего бы вдруг, а чтобы познакомиться с пустыней», – ищет что-то в своей сумке, возможно свитер, поскольку майка, которая на ней, слишком тонка, а ветер набирает силу. Ади, книжный червь, держит книгу, выпущенную, судя по формату, издательством «Ам Овед», но она не читает. Ее зеленые улыбчивые глаза, глядящие поверх книги, устремлены на Моду. Она единственная, кто знает о его коварном замысле запечатлеть всех, захватив врасплох, возможно, потому, что они друзья.

Все они – и Янив, и Яэль, и Ами, и Нир, и Хилá, и Ади – вместе, то есть они достаточно близки друг к другу, всех их можно вместить в воображаемый круг, диаметр которого не более полутора метров. И только двое находятся вне этого круга: Амир и я.

Амир сидит на валуне, нависающем над источником, обхватив колени, обозревая окружающих пристальным взглядом. Я прислоняюсь к своей сумке, расположившись по дру-

гую сторону источника, и тоже обзираю окружающих пристальным взглядом.

Просто невероятно, насколько же похожи выражения наших глаз.

Всякий раз, глядя на эту фотографию, я начинаю смеяться. Два наблюдателя. Неудивительно, что только через три дня мы впервые заговорили друг с другом, три дня, в течение которых он попеременно казался мне красавцем и уродом, интересным и раздражающим, застенчивым и высокомерным; три дня я ожидала, что он попытается завязать со мной более близкое знакомство, но в то же время надеялась, что он этого не сделает. Только на четвертый, последний день нашего похода, когда я поняла, что, если я и дальше буду только ждать, это может закончиться тем, что отношения между несозревшим джентльменом и состоявшейся леди так и не установятся, я, набравшись смелости, использовала момент, когда мы оказались далеко от всех, и задала ему глупый вопрос: не знает ли он, почему только валуны справа обладают особой раскраской, и он ответил, что это ему неизвестно, в подобных вещах он не очень-то разбирается. Он протянул руку, чтобы помочь мне преодолеть очередной валун, и прикосновение его руки было мягким, намного более мягким, чем я это себе представляла. Но все это уже никак не связано с фотографией. Я увлеклась.



– Приятная пара, – говорю я Моше после того, как студенты закрывают за собой двери.

– Очень приятная, – отвечает он и, сложив договор, кладет его в карман рубашки.

– Но немного странные, разве нет? – спрашиваю я, вытаскиваю договор из кармана рубашки и прячу в кляссер для документов, где ему и положено быть.

– Почему странные? Потому что живут вместе без всякой свадьбы? – спрашивает он, помогая мне вернуть кляссер на прежнее место.

– Да нет же, что это с тобой. Сегодня это принято, многие начинают жить вместе до того, как поженятся, проверяя, поладят ли друг с другом, и вообще, подходят ли для совместной жизни. Не то что ты – взял и женился в двадцать один на первой же своей девушке.

– Но у меня все хорошо вышло, – протестует Моше и улыбается широкой улыбкой.

– Ладно, у тебя вышло все хорошо, – улыбаюсь я ему в ответ, – но я говорю о принципе.

– Какой еще принцип? – спрашивает Моше и протягивает руку к пульту телевизора.

– Оставь, – говорю я ему, – не имеет значения.

Он включает телевизор. Спортивный канал. Похоже,

принцип мне придется объяснить своей сестре Мирит. Она намного более терпима к сплетням. Никуда не денешься, женщины – это женщины, а мужчины – это мужчины.

– Душа моя, – вдруг говорит Моше, все еще не отрывая взгляда от телевизора, – ты ведь помнишь, что мои братья приедут в субботу?

Да, я помню. Как же можно забыть. Так много дел предстоит сделать в честь их прибытия. Проверить, не попал ли случайно нож для молочных продуктов в ящик со столовыми приборами для мясных блюд. Убедиться, что все продукты в холодильнике соответствуют самым строгим правилам кашрута, поскольку обычного свидетельства о кошерности для них недостаточно. Разобраться, хватает ли в доме свечей, и пополнить их запас в случае необходимости. Включить субботнюю автоматическую электроплиту. Найти свой головной платок. Выстирать его. Все приготовления должны закончиться к ночи четверга, потому что в пятницу они всегда приезжают пораньше, опасаясь пробок на дорогах, – и не имеет значения, что я много раз объясняла им: никаких пробок в эти часы не бывает, – но они панически боятся, что начало субботы встретит их в дороге. И не приведи Господь, чтобы Менахем, старший брат Моше, великий раввин из Тверии, подумал, будто у нас не все в полном порядке и не соответствует его стандартам. «Ты его не знаешь, Сима, он из этого сделает целую историю», – так Моше вот уже шесть лет с самым серьезным выражением лица предупреждает ме-

ня каждый раз перед их приездом. И всякий раз это снова и снова меня раздражает. Кто сказал, что так должно быть? Почему всякий раз, когда мы приезжаем к раввину Менахему в Тверию, он обязательно делает замечание по поводу моей одежды, а уже если он прибывает к нам, то весь мир должен в его честь стоять по стойке смирно?

Но я ничего не говорю. Ни единого слова. Я знаю, как это важно для Моше. А Моше важен для меня. И ради мира в семье я готова сделать многое. Почти все.



Наша квартира, как нарост на дереве, прилепилась ко второму этажу дома Моше и Симы Закиян, и на этом этаже расположена квартира из трех комнат, в которой живут папа, мама и двое детей. На втором этаже, в тех помещениях, что когда-то были частью оригинального арабского дома, живут родители Моше – Авраам и Джина, основатели династии Закиян: шестеро сыновей и около двадцати внуков. Уже в первую субботу в нашей новой квартире мы удостоились познакомиться со всеми. Повод – семидесятилетие дедушки Авраама. В пятницу постепенно прибывает все семейство, чтобы праздновать с неразговорчивым дедом. Первыми на вместительных фургонах приезжают одетые в черное дети Авраама и Джины, присоединившиеся к ультраор-

тодоксальным общинам Бней-Брака и Тверии. За ними – все еще с большим запасом времени до наступления субботы – и все остальные, в кипах или без. Разобрав пластиковые стулья, все усаживаются на маленькой лужайке, состоящей из прямоугольных ковриков травы, привезенных из питомника; границы между прямоугольниками все еще различимы. Сима посылают к студентам, пусть и они присоединятся.

– Нет, нет, спасибо, мы не можем, нам надо готовить работу к сдаче.

Но Сима настаивает, берет Ноа за руку:

– Разве вы не слышали? Стыдливый никогда сыт не будет.

И Ноа уступает, соглашается, и я иду вслед за ней. Моше готовит для нас два стула, мы благодарно улыбаемся, Сима представляет нас собравшимся и предлагает угоститься разложенными на столе деликатесами: фаршированными листьями винограда, кубэ с заостренными концами, рисом со специями, какого я никогда не пробовал, и всевозможными салатами и сладостями. Дети с пейсами и без них играют в пятнашки, приятно течет беседа. Выясняется, что Йоси, младший брат Моше, любит фотографировать, и Ноа рассказывает ему немного о своих занятиях, – я же замечаю, что к психологии никто не проявляет явного интереса, – и, когда Йоси спрашивает ее, какой фотоаппарат стоит ему купить, Ноа подробно объясняет преимущества и недостатки разных камер. Солнце, очень медленно опускаясь, готово исчезнуть за Иерусалимскими холмами, возвышающимися на горизон-

те, и беседа неспешно переходит на другие темы, более тесно связанные с семьей: проблемы, их решение, воспоминания детства. Иногда вдруг прозвучит какое-нибудь выражение на языке курдских евреев – «*капарох*», «*хитлох*», «*ана габинох*», – и тут же нам переводят, чтобы мы не чувствовали себя чужими: «дорогая моя», «жизнь моя», «я люблю тебя». Через водопады волос Ноа я пробираюсь к ее уху и шепчу:

– *Ана габинох.*

Я думаю, что есть особая аура, окружающая нас, когда мы вместе, аура антиодинокости, и она хватается мою руку под столом и шепчет мне в шею с оптимизмом, столь редким для нее:

– Повезло нам с этой квартирой, а?



– Амир, ты любишь меня?

– Да.

– Почему?

– Что значит «почему»?

– Это значит: что ты любишь во мне?

– Массу вещей.

– Например?

– Например, как ты ходишь. Я очень люблю твою походку.

– Мою походку?

– Да, такую быструю, будто всегда хочешь побыстрее оказаться на месте.

– А что еще?

– Теперь твоя очередь.

– Моя очередь? Хм-хм... Я люблю твою манеру поведения с другими людьми. Как ты умеешь сказать каждому что-то настоящее, относящееся только к нему.

– Ты тоже такая.

– Не совсем, я более твердая, чем ты.

– Неверно, ты очень мягкая, вот, почувствуй.

– Там я действительно мягкая.

– И в других местах тоже.

– Да? Где, например?



Я долго колебалась, прежде чем сделала этот снимок. Боялась, что щелчок фотокамеры разбудит Амира, ведь его сон казался таким легким. И то, как он выглядел, свернувшись калачиком, словно котенок, на траве перед нашим съемным домиком в Амирим. Его длинные ресницы и нежные щеки, порозовевшие от сна, – это тоже заставило меня колебаться. Даже мне, фотографу, не выпускающему камеру из рук, пришла в голову мысль, что, может быть, не все следует фотографировать, может быть, я оставлю вещи такими, какие

они есть, и на этот раз не стану документировать их, запечатлев только в своей памяти. Но свет, волшебный свет сумерек, и композиция, квадраты индейского свитера внутри квадратов травяного газона, и три апельсина, видневшиеся среди веток дерева, и забытая порванная баскетбольная сетка, оживившая пасторальную картину в необходимой мере, не более, – я просто не смогла удержаться.

И, конечно же, он проснулся.

Но, вопреки своему обыкновению, он не ворчал. Мы были умиротворены в эти выходные, каждый с самим собой, и каждый – друг с другом. И было нам хорошо вместе. Не после того, как уже все произошло, свершилось и накатывается тоска по тому, что было. Не прежде, чем что-то произойдет и все наполнено ожиданием и надеждами. Но – по-настоящему хорошо. Здесь и сейчас. Очень. Я помню, как утром мы медленно, не спеша занимались любовью и он прикасался пальцем к различным частям моего тела, словно еще раз убеждался, что я настоящая, и это поначалу меня рассмешило, а потом возбудило. После того как оба мы кончили, исполненные нежности, и снова юркнули под одеяло, я рассказала ему про «ночь акамола». Никогда не рассказывала об этой ночи никому из своих прежних парней, даже Ронену, с которым мы прожили вместе почти целый год. Боялась, что это отпугнет их, и только с Амиром я впервые почувствовала, что могу открыть свою тайну и он сумеет сохранить ее; я приблизила свои губы к его груди, словно именно грудь в

состоянии меня услышать, и все ему рассказала. Он слушал тихо, не испугался, но и не давал советов, только гладил мою голову, снова и снова, как поглаживают голову ребенка. Пока я не уснула. А когда проснулась, он уже был на лужайке.

После того как я сфотографировала его и увидела, что он совсем не сердится, что я его разбудила, я отложила камеру в сторону и присоединилась к нему. Обняла его сзади, просунув ладони под свитер, обхватив его грудь и прижавшись к нему, шептала какие-то глупости влюбленных. По краешку его щеки я заметила, что он лениво улыбнулся мне и забросил назад обе руки, чтобы прижать меня к себе еще сильнее.

На обратном пути, возвращаясь в мир по дороге, петлявшей между холмами Галилеи, мы заговорили о том, что, возможно, в будущем году все-таки будем жить вместе, хотя он учится в Тель-Авиве, а я в Иерусалиме.

– Как же я смогу спать без тебя? – сказал он.

И я пересекла пространство над ручным тормозом, разделявшее нас, и обвилась вокруг его свободной руки. Мы и прежде уже говорили о такой возможности, но всегда – в самых общих чертах, ни к чему не обязывающих. Ни один из нас не хотел предложить что-либо конкретное, словно тот, кто первым предложит, и будет ответственным за неудачу.



Моменты, когда в Ноа вспыхивают сомнения:

Когда Амир настаивает на том, чтобы в центре гостиной повесить на стену эту грустную картину – человек, немного похожий на Жерара Депардье, ночью сидит в одиночестве на кровати в гостиничном номере, рядом с ним какой-то предмет, похожий на старое радио; он глядит в небо, на бледную луну, виднеющуюся в окне.

– Это единственная постоянная вещь в моей жизни, и она переходит со мной во все съемные квартиры, в которых мне довелось жить, – заявляет он, вбивая еще один гвоздь. Но ее эта картина вгоняет в депрессию.

Ей действует на нервы еще и то, как он наводит порядок, кладя на место разбросанные ею вещи.

– Пойми, – пытается она объяснить ему, – беспорядок жизненно важен для творчества.

Он согласно кивает головой. И продолжает следовать за ней, собирая ее обувь. Носки. Белую резинку для волос. И черную резинку.

И еще одна неприятная вещь: за две недели, прошедшие с тех пор, как они начали жить вместе, застопорились все проекты, которые она готовила в рамках учебных программ. Когда Амир дома, ей никак не удается сосредоточиться. Мысли ее все время рассеиваются. Ванная – это единственное место, где ей хорошо думается. Только там ее сознание обнажается, мысли текут свободно. И идеи роятся в голове, не сдерживаемые ограничениями или страхом.

Поэтому она часами остается в ванной, пока горячая вода в бойлере не кончается, и на пальцах не появляются морщины, как у старушки.



Только гипсовая стена отделяет студентов от семьи Закиян. Да еще в этой стене Моше прорезал маленькое оконце. Для чего? Чтобы и студенты, если захотят, смогли протянуть руку и включить электрический бойлер, который находится у хозяев дома, но снабжает горячей водой и примыкающую квартиру, где живут Ноа и Амир. И всякий раз, когда им хочется принять теплую ванну, они сдвигают в сторону деревянную заслонку, закрывающую отверстие в стене, рука их вторгается в дом и в жизнь другой семьи, включает бойлер и без промедления возвращается на свою территорию. Но иногда (ведь все любят принимать ванну примерно в одно и то же время) две руки, тянущиеся к выключателю с разных сторон, могут войти в соприкосновение. А раз в неделю, обычно по четвергам, заслонка отодвигается толчком, и рука Моше Закияна забрасывает письма, на которых значится адрес: «Для Ноа и Амира в доме семьи Закиян». (Моше сказал, что поставит им почтовый ящик, но на это потребуется время.)

И заслышав звук, издаваемый падающей на пол пачкой писем, Амир откладывает в сторону свои книги и тетради

и мчится проверять. Чтобы выяснить, есть ли – кроме уведомлений из университета – еще и письмо от Моды. Самого лучшего друга – и самого далекого.



И дни надежды. Компания «Пайлот» публикует фотографию: церемония подписания мирного договора, крупным планом – перо, выводящее подпись. Абу-Даби взвешивает возможность возобновления связей с Израилем. (Как же мы по тебе тоскуем, Абу-Даби!) Ведутся разговоры об экономических проектах, о совместных сельскохозяйственных предприятиях, об «огурцах смелых», так сказать: напоминание о «мире смелых», о котором трубила пресса после подписания соглашения Израиля с палестинцами. В Газе строительный бум. В Рамалле сажают деревья. В арабской деревне на территории Израиля евреям предлагаются дачи. Питы, затар¹, хумус, задушевная беседа – все, что душе угодно. Спрос – и в это невозможно поверить – необычайно велик.



¹ Затар – приправа из душистых трав (орегано, базилика, тимьяна, чабера). –
Здесь и далее – прим. пер.

Дружииииище, как дела?!

Прежде всего, я должен описать место, из которого придет к тебе мое письмо. Называется оно Реконсито, что на испанском (в вольном переводе) означает «дыра». И на самом деле, браток, речь идет о дыре. Чтобы сюда добраться, надо заранее, за день, из ближайшего города позвонить Альфредо, хозяину этого места, дабы организовать транспорт. Только джип 4×4 может преодолеть ухабистую дорогу, соединяющую город с фермой, и только у Альфредо, разумеется, есть такой джип. А что оправдывает столь сложную операцию? Чем же славен Реконсито? Весьма немногим. Несколько лошадей. Несколько коров. Маленькая гостиница на восемь коек. Ресторанчик, в котором подают еду только два раза в день. А еще есть тут нечто неуловимое, о чем у меня нет ни малейшего понятия, не знаю, как это назвать, но именно это и привлекает сюда туристов. Чем здесь занимаются? Значит, так. С раннего утра я сижу на кривом деревянном стуле, не меняя позы, и гляжу, как одни и те же вещи – коровы, деревья и облака – всякий раз выглядят по-разному. Под влиянием солнца, которое движется. Под влиянием моего настроения. Под влиянием того факта, что это мой третий взгляд. Звучит для тебя странно? Сожалею, но именно так обстоят дела в состоянии «походности». Да, я тут разработал (в течение дня) новую теорию, утверждающую, что у человека есть три основных состояния сознания: «солдатчина», «гражданка» и «походность», расположенные вдоль оси

времен следующим образом:

«солдатчина» – «гражданка» – «походность»

А вот и объяснение: помнишь чувство, которое испытываешь, когда приходишь в отпуск домой из армии, меняешь форменную одежду на пижаму, и в тот же миг твое тело расслабляется, весь воздух выходит из груди, и плечи уже не такие твердые, и ты знаешь, что, по крайней мере, ближайшие 48 часов тебе не надо бояться, что кто-нибудь – комвзвода, комбат, военная полиция – может лишит тебя свободы? В этом-то и разница между «солдатчиной» и «гражданкой»: ты точно знаешь, что никто извне не сможет ничего тебе навязать. Ты и только ты решаешь, что тебе делать. Теперь внимание. Разница между «гражданкой» и «походностью» всего лишь внутренняя, а вообще-то они одинаковые. Потому что, выйдя за ворота воинской части, из которой ты демобилизовался, перейдя окончательно и однозначно в состояние «гражданки», ты продолжаешь подчиняться своим внутренним полицейским. Ты подчинен своей природе, своему характеру, который всем хорошо известен. В режиме «походность», вследствие процесса, мне не совсем понятного (следует помнить, теория еще в процессе развития!), ты увольняешь всех вышеперечисленных. Одного за другим. И сознание твое, по крайней мере чисто теоретически, становится распахнутым сюрпризам и открытым всем переменам.

Что ты по этому поводу думаешь, будущий психолог? (Прежде чем ты разобьешь мои доводы в пух и прах, вспомни, что грек Зорба сказал настоятелю монастыря, представившему ему три странные теории, над которыми священник трудился всю жизнь... Минутку... Я не помню в точности слова, поэтому позволь мне поискать их в книге... Вот, нашел: «Теории ваши могут спасти многие души, мой мудрый отец, – сказал Зорба, но, прежде чем солгать монаху, он подумал, – и тут следует прекрасная фраза, – что у человека и вправду есть великие обязательства и они превыше истины».)

Я говорил с мамой, и она рассказала мне, что вы с Ноа живете вместе. Честно говоря, я был очень удивлен. В нашем последнем разговоре перед моим отъездом – помнишь? – после того, как ты наголову разбил меня в теннисном матче (ублюдок, одержимый страстью к победам, неужели ты не мог отправить меня в путь победителем?), ты сказал, что боишься и это может не сработать, не так ли? Что есть у тебя чувство, будто ты встретил ее слишком рано. Ладно. Но, похоже, пока у вас все получилось. И я рад за тебя. Где именно находится этот Кастель? До духана «Хумус абу Гош» или после него? Во всяком случае, обещаю навестить вас, когда вернусь (в эту минуту это кажется весьма далеким, но как знать).

Солнце сейчас садится на Реконсито, облака окрашены в оранжевый, и легкий ветерок вовлекает в танец верхуш-

ки деревьев. Еще немного, и совсем стемнеет, и тогда начнут мерцать светлячки. Потрясающее зрелище, пляска огней. Но, кроме этого, ночью здесь нет света, и продолжать писать трудно. (Хотя, это может быть интересным – один раз написать письмо ночью, вообще не видя, что пишешь, не заботясь об аккуратных строках, пробелах между буквами, не думая о том, понимают тебя или нет. Возможно, попробуем это в следующем письме. Да не оставит тебя милосердие.)

Пока же – *адиос*.

Пошли мне что-нибудь на адрес посольства Израиля в Лас-Пасе, говорят, что там сохраняются письма.

Ноа – мой привет и песня в придачу.

Моди



Временами, когда Амир выходит во двор, он видит его. Младшего брата павшего солдата. На заброшенном поле между домом семьи Закиян и домом мальчика, который гладит бродячих кошек. Пасет муравьиное стадо. Громоздит камень на камень, памятник брату.

И всегда один.

И никогда не поднимает взгляд, хотя знает, что Амир рядом. Стоит.



Все слышно сквозь эти стены, и когда я говорю «все», я имею в виду именно «все». Чтоб они были здоровы, студенты эти, почти каждый день, а иногда и два раза в день. А какие звуки она издает, господи ж ты боже мой. То есть не всегда, иногда слышится только скрип кровати и смешки; но, когда это им удастся, Ноа совсем не стыдится и все удовольствие выплескивает наружу, но самое смешное, что Лилах, моя самая маленькая, когда слышит, как Ноа наслаждается, она пугается и начинает плакать, я должна взять ее на руки и успокоить, а попутно и сама успокоиться, потому что эти звуки и вправду сбивают меня с толку. Иначе говоря, иногда это меня просто раздражает и хочется постучать им в дверь, сказать со всем уважением, чтобы убавили громкость, но иногда, в те дни, когда Моше в дороге до позднего вечера, а я целый день одна дома, с подгузниками, текущими носами и радио, передающим песни под фортепиано, – эти голоса, доносящиеся из квартиры соседей, вызывают у меня некий зуд ниже живота, и я начинаю поглядывать на часы, ну, когда уже Моше вернется, а когда он наконец-то появляется и дети уже легли спать, я обнимаю его чуть дольше, чем обычно, целую его в подбородок, это у нас своего рода сигнал, а он начинает жаловаться, мол, я измотан, устал смертельно, но я-то его знаю, моего плюшевого мишку, и знаю, что нужно де-

лать, чтобы он возбудился: черный кофе, лучащиеся взгляды, ласковые поглаживания по затылку, – и через несколько минут мы уже в постели, без криков и стонов, но с огромным ощущением приятного, ведь мы уже восемь лет вместе, со средней школы, и мы знаем, что делать и что говорить, а кроме того, в конце, когда уже все свершилось и мы лежим на спине, немного в удалении друг от друга, Моше всегда бормочет: «Благословен Господь, благословен Господь», – а я завожусь и говорю: «С чего это твое «благословен Господь», при чем здесь Бог вообще?» – потому что я сильно не люблю, когда он начинает говорить, как его религиозные братья. Но сколько я ему ни твердила об этом, он продолжает свое «благословен Господь», утверждает, что это у него слетает с губ просто автоматически.



Когда у нас была шива – семь дней траура, я не мог дожидаться, чтобы это закончилось. Чтобы все люди разъехались по своим домам, особенно тетя Мириам, потому что из-за нее меня перевели в гостиную. Я хотел, чтобы мы вынесли уже из гостиной стулья и матрасы, и всю эту грудку посуды, и недоеденные кусочки кубэ, и тогда появится наконец-то немного места, а мне позволят вернуться в свою комнату, немного поиграть в разные игры на компьютере или посмот-

реть телевизор, что было запрещено в течение всей недели, и у меня будет время подумать о Гиди и обо всем новом, что они говорили о нем последнюю неделю, и частично это было неправдой, например, что он любил армию и все такое, но в ту минуту, когда закончилась шива и тетя Мириам, уезжавшая последней, исчезла в такси, которое отвозило ее в аэропорт, я уже начал скучать по шуму и даже пожалел о своем желании, чтобы все ушли, потому что дом внезапно стал таким тихим, по-новому, эта тишина не похожа на тишину субботнего утра, когда все спят, или на тишину в моем классе, когда учительница велит всем читать из «Новой хрестоматии».

Мама и папа едва разговаривают со мной, а если и разговаривают, то только для того, чтобы отдавать распоряжения: «Почисти зубы», «Убери звук на компьютере», либо для того, чтобы задавать вопросы, например: «С чем тебе сделать бутерброд» или «Когда тебя забрать после тренировки в секции каратэ». Но самое странное, что они едва разговаривают друг с другом. Когда же они разговаривают, скажем, за ужином, можно услышать в каждой фразе, – даже, если это только «передай мне перечницу», – что они злятся.

Папа злится из-за «храма», – так это он называет, – который мама создает Гиди в гостиной. Он ничего не говорит ей, но можно понять, что он чувствует, по напряжению мышцы на щеке, которая начинает дрожать всякий раз, когда она вешает еще одно фото Гиди, зажигает еще одну свечку, встав-

ляет в рамку еще одно письмо, присланное нам из армии. Мама же сердится на папу за те слова, которые он сказал корреспонденту из газеты. «Зачем ему это нужно? – сказала мама по телефону тете Маргалит, когда папа был на работе, а я прятался за шкафом и все слышал. – Я не понимаю его. Если ему нужно душу излить, пусть поговорит со мной. А кроме того, зачем он нападает на других родителей? Откуда у него эта наглость – судить их?»

Это не в первый раз, когда мама и папа в ссоре.

Так было и два года тому назад, потому что мама хотела завести еще одного ребенка. В то время Гиди еще жил дома. Однажды он увел меня в свою комнату, рассмешил до слез, подражая разным животным, а потом усадил на свою кровать и объяснил мне, что это вполне нормально, если папа и мама не во всем согласны друг с другом, и уж точно это совсем не значит, что завтра они разведутся, как родители Рои, а вполне вероятно, что они помирятся через неделю-другую и все вернется и станет по-другому.

Но теперь Гиди погиб, и когда мне больше не в состоянии выносить настроение, царящее в доме, я ухожу прямо в поле, не говоря никому ни слова, просто выпрыгиваю из окна своей комнаты, чтобы мама не спрашивала, куда я иду. Я приземляюсь на расставленные ноги, как гимнаст, прыжком преодолеваю заборчик и иду в поле, собираю камни для памятника Гиди. Или играю с кошками. Никто не пристаёт ко мне с вопросами. Не смотрит на меня, будто я кукла в тель-авивском

музее восковых фигур «Башня Мира», как поступают дети в моем классе с тех пор, как я вернулся в школу после траура.

Только высокий студент, который живет в квартире напротив, иногда выходит во двор, развешивает выстиранное белье или ищет свои газеты, почему-то ему кажется, что разносчик швырнул их в кусты. Но я-то знаю, что все его газеты на крыше, потому что у разносчика нет ни сил, ни охоты спуститься к самой двери, он бросает пачку газет прямо с дороги и промахивается, но я ничего не говорю. Вчера, когда во время поисков студент споткнулся о большой камень и упал, он мне улыбнулся, оттого что почувствовал себя глупо, и я было улыбнулся ему в ответ, но в последний момент сжал губы, сделав вид, что не заметил его. Мне не нужен еще один, чтобы меня жалеть.



- Амир, в гостиной шум.
- Это ветер.
- Может быть, это вор?
- Это ветер, но, если хочешь, я пойду проверю.
- Я хочу, мне нравится чувствовать, что ты сильный и защищаешь меня.
- Значит ли это, что я не могу быть слабым рядом с тобой?
- Можешь, но в меру. Ну?

– Я встаю.

– Погоди секунду, что, собственно, у нас можно украсть?

– Ничего. Впрочем, можно, это газета «Гаарец».

– Ведь мы еще ни одного номера не получили?

– Нет.

– А ты говорил с разносчиком?

– Говорил.

– Так, может, те, кто работает у Мадмони, забирают их у нас? Они приезжают в шесть утра.

– Отлично, Ноа, вини в этом арабов. Вполне логично, что они читают еврейскую газету «Гаарец».

– Почему бы и нет? Разве в газете нет специального приложения «Недвижимость»?



Этот дом, я уверен. Или нет? Уже две недели с тех пор, как мы начали работать здесь, делая пристройку к дому семьи Мадмони, я смотрю на этот дом, который стоит через дорогу, долго смотрю. С раннего утра смотрю, и в перерывах, и в конце рабочего дня, когда мы сидим на тротуаре, дожидаясь, пока Рами, строительный подрядчик, подберет нас и отвезет обратно в деревню. Нижняя часть дома новая, *яани*², отремонтированная. Камни чистые, с тонкими полосками между

² Яани – вроде бы (араб.).

ними. Живет там семья с двумя маленькими детьми – муж работает в компании «Эгед», это я сужу по автобусу, – и еще есть молодая пара, которая живет в квартире, пристроенной к задней стене дома, но я вижу только крышу и антенны.

Если бы дело было только в нижней части дома, то я бы ничего и не подумал.

Но верхняя часть, второй этаж, откуда иногда появляются старуха со стариком, построена так, как обычно строились у нас в деревне, камень подогнан к камню. Один из камней, угловой, выступает вперед, как он выступал в том доме, который я помню. И еще один камень, слева от двери, такой же черный, какой был и у нас, хотя вообще-то я помню черный камень в нашем доме с правой стороны. И окно завершается небольшой аркой, точно такой, какая венчала окно в комнате мамы и папы.



Моя семья успела пожить во многих квартирах, по крайней мере, последние десять лет перед моим уходом в армию. Из Иерусалима в Хайфу. Из Хайфы – в Иерусалим. Из Иерусалима в Детройт. А еще были переезды в каждом городе. И все-таки всякий раз, когда я переезжаю на другую квартиру, всплывает и болезненно ранит душу, затмевая все переезды, тот переезд, что случился, когда я переходил из де-

вятого класса в десятый. Как раз во время чемпионата мира по футболу, поэтому я хорошо помню год: тысяча девятьсот восемьдесят шестой. Мексика, восемьдесят шесть. Бельгия против Советского Союза. Испания против Дании. Много забитых мячей. Прямые трансляции посреди ночи. Время, когда люди обычно спят, но мне уснуть не удастся. С одиннадцати часов я ворочаюсь в постели, вновь и вновь пытаюсь решить для себя: восстаю ли я против этой свистопляски с переездами, которую мой папа навязывает нам каждые несколько лет, не пришло ли мне время заявить, мол, довольно, я остаюсь здесь. В Иерусалиме. Со всеми моими друзьями. А вы можете возвращаться в Хайфу. Снова и снова я мысленно прокручиваю, что произойдет в ближайшие несколько недель. Как на прощальной вечеринке девочки поцелуют меня в щечку, все запишут мой новый телефон, обещают не терять связи, и как в летние каникулы позвонят мне – максимум – двое-трое бывших одноклассников, а встретимся мы, возможно, один-единственный раз, разумеется, у них, поскольку из Иерусалима в Хайфу трудно доехать, и – даже если мы встретимся более одного раза и даже если случится самое невероятное и они приедут в Хайфу, – с началом нового учебного года мы снова отдалимся друг от друга, письма станут короче, паузы в телефонном разговоре длиннее, и в их рассказах начнут появляться имена людей, о которых я понятия не имею.

Если только – и такая возможность крутится в голове – я

сниму себе комнату. Да. У какой-нибудь старушки. Иногда такие объявления появляются в местной газете «Весь Иерусалим». Но где я возьму деньги, чтобы снять комнату? И где я буду стирать? И сколько можно есть шакшуку, поскольку это единственное блюдо, которое я умею готовить?

Каждую ночь, как только приближается время начала матча, я встаю, беру свое одеяло, перебираюсь в гостиную, включаю телевизор и убираю звук, чтобы не будить всех в доме. Когда забивают гол, я с трудом сдерживаю желание завопить во весь голос от радости, а когда передача заканчивается, включая подведение итогов и комментарии, я, надев пальто, выхожу в иерусалимскую ночь, все еще заряженный немым напряжением футбола, спускаюсь к торговому центру, к аптеке «Суперфарм», закрытой и изнутри залитой светом, разглядываю упаковки подгузников и туалетной бумаги, снова и снова перечитываю объявления о скидках и акциях, пока это мне не надоест, потом усаживаюсь на один из стульев небольшого кафе; все стулья скованы один с другим железной цепью, я дрожу от холода и думаю, что, может быть, я тоже прикую себя цепью, как это делают на демонстрациях, и тогда мне не нужно будет никуда переезжать; я смотрю на редкие автомобили, проносящиеся мимо, и сочиняю про них истории: в этой машине агент Моссада возвращается домой, выполнив шпионскую миссию во вражеском тылу, а в этой — шлюха, отработавшая смену; и только с появлением первых полос света, разогнавших темноту парка, и лязгающих в кон-

це улицы мусоровозов, я поднимаюсь со стула, бегу всю дорогу до самого дома, укладываюсь в постель, лежу немного, прикидываясь пай-мальчиком, а затем иду на кухню, выпиваю с мамой свое утреннее какао, как будто ничего не случилось, иду в школу, веду себя дерзко с учителями, потому что я слишком устал, чтобы вести себя пристойно, да и все равно они ничего не могут мне сделать. Я переезжаю в Хайфу.



Дул сильный ветер, когда я делала этот снимок, что видно по шапке волос Амира, которая и в обычные дни впечатляет своим присутствием, но здесь реально угрожает вырваться из рамок. О сильном ветре можно судить также и по кустам за его спиной, наклонившимся вправо странным образом. Но самое интересное в композиции этого снимка отнюдь не ветер, а несоответствие между объектом съемки и фоном, между центральным событием и тем, что творится за ним. Центральная фигура события – это Амир, разумеется, в одной руке он держит овальный деревянный щит, на котором написано, – если напрячься, то можно прочитать, – «Дом Ноа и Амира», приставив этот щит к двери. Другая его рука сжимает большой молоток, одолженный у Моше, хозяйина дома. Еще немного, и Амир вытащит гвозди из кармана и попытается укрепить этот щит на двери. Поначалу гвоз-

ди у него согнутся, но после нескольких попыток он сумеет это сделать. Тем временем он улыбается широкой улыбкой, в которой можно увидеть сочетание подлинной радости, – в конце концов, речь идет о торжественном моменте, – с искоркой ухмылки, обращенной ко мне, будто он вопрошает: «К чему это позирование, Ноа, почему все необходимо запечатлеть на фото?» Позади Амира, на фоне драматического события, между нашей квартирой и домом семьи, потерявшей сына в Ливане, простирается заброшенное поле. Изогнутый железный столб, кусты, кучка мусора, увенчанная огромной пластиковой канистрой, несколько досок, которые строительный подрядчик забыл увезти, маленькие камешки, большие камни, и одна облезлая кошка смотрит в камеру сверкающими глазами. Я бы рада сказать, что обратила внимание на все эти детали, когда делала снимок, выбирала диафрагму, чтобы все было в фокусе, но на самом деле это не так. Некоторые предметы в заброшенном поле размыты, а те, что не размыты, – тусклые. Я снова забыла, что Ишай Леви, преподававший историю фотографии, говорил нам, первокурсникам: «Нет такого кадра, в котором есть только одна история, всегда ищите другие истории на периферии кадра».

После того как мы закончили прибивать деревянный щит, убедились, что укреплен он прямо, а не криво-косо, вошли в дом, опустили жалюзи и отпраздновали это событие в постели. Всегда, по любому поводу, мы праздновали обычно

между простынями или под одеялом, потому что уже становилось довольно холодно. Отпраздновали церемонию вноса в спальню двойного матраса и приобретение радиатора. Даже нашу первую большую покупку в супермаркете. (Он намазал медом мои соски, а потом слизывал. Медленно.)

Амир хочет, чтобы мы оставались в постели, обнявшись навеки, но я спустя всего несколько минут всегда хочу, я просто должна, убежать в ванную.



Но вот что странно: даже когда я была одна и сама принимала все решения, когда даже некого было винить, я продолжала переходить с квартиры на квартиру, словно одержимая. Семь квартир сменила я с тех пор, как начала служить в армии, семь раз ящики, гвозди, треволнения. Если рассмотреть каждый переезд в отдельности, можно утверждать, что надо мной тяготело проклятие. Хозяин квартиры на улице Хасмонеев, где я жила, вдруг решил продать ее. Майя вдруг решила влюбиться в ассистента профессора. У девушки, с которой мы вместе снимали квартиру в Рамат-Гане, случился нервный срыв. Но горько-сладкая правда состоит в том, – мне потребовалось время, чтобы это признать, – что есть нечто захватывающее в частых переменах, в волнении перед переездом, в адреналине, клокочущем в крови

в честь новой страницы, которая вот-вот откроется. Люди, занимающиеся бегом трусцой, – мы учили это еще на первом курсе, – испытывают состояние особого подъема, сходное с легким опьянением, так называемую «эйфорию бегуна». На английском это состояние называют научным термином *runner's high*. Мне кажется, что существует подобная зависимость от постоянного стремления к переменам, которую можно было бы назвать *mover's high* или *change's high* (американцы наверняка придумают для него соответствующий термин).

И я пристрастилась. Пристрастилась к тому, что мышцы сокращаются в преддверии расставания. И порой мне кажется, что отвыкнуть я уже не смогу никогда.

Но иногда, как вчера, – когда мы прибили щит на дверях, а потом занимались любовью, долго лежали в постели, разговаривали и обнимались и ветер сотрясал окна, но не нас, – мне начинает казаться, что смогу.



Моменты, когда Амир счастлив, что он Ноа-и-Амир.

Когда в конце дня они сидят на кушетке, пьют что-то горячее и сквозь пар, поднимающийся из чашек, рассказывают друг другу об обидах, победах, минутах одиночества, которые они пережили отдельно друг от друга. Беседа льется,

каждое слово произносится в свое время, и он снова вспоминает, что ее душа вплетена в его душу. И еще: когда он возвращается домой поздно, осторожно идет по тропинке, подкрадывается к окну, глядит на нее сквозь просветы в жалюзи; ее лицо серьезно, брови сдвинуты, она сейчас трудится над одним из своих проектов. Или: как губы ее чуть-чуть разомкнуты, когда она смотрит телевизор. Или: как иногда ее блуждающий взгляд повисает вдруг на воображаемом крюке под потолком, и совершенно ясно, что она мечтает, неясно только – о чем. А еще он любит, когда ночью по вторникам они смотрят сериал «Секретные материалы». И смеются, поскольку Малдер всегда оставляет Скалли в трудные минуты. И вскакивают, – дрожь скользит по позвоночнику, словно ребенок, спускающийся по наклонному желобу водяной горки, – когда музыка звучит угрожающе. Ноа прижимается к нему и поверх одеяла, и под ним. Он обнимает ее плечи сильной мужественной рукой, зная, что это лишь поза, но все равно наслаждаясь этим.



Иногда, по пятницам, посреди главной улицы Кастанья два встречных автомобиля, остановившись, стоят рядом, окно к окну, и водители заводят короткую беседу. Как здоровье, что ждет наш «Бейтар», когда уже твой сын будет вызван к Торе.

Позади автомобилей образуется пробка местного значения. Но Ноа больше всего изумляется тому, что никто из водителей, стоящих в пробке, даже не допускает такой возможности – погудеть в клаксон.

Иногда, по субботам ветерок приносит в их дом звуки дарбуки. Далекое. Приглушенное. И Амир барабанит по учебнику статистики, отбивая ритм. А Ноа пляшет перед ним. Обнаженная.

И маленький пророк танцует с ними, мантия его колыхается за плечами. Раскачивает свою лысую голову, улыбаясь кривой улыбкой. Улыбкой заговорщика.



В доме Ноа и Амира есть новый компакт-диск: *I'm Your Fan*³. Новые исполнения песен Леонардо Коэна. И хотя исполнителей много и все они разные, но связаны они воедино какой-то таинственной волшебной нитью, на которую нанизаны все песни. Больше всего Амир любит последнюю песню на диске «Аллилуйя». *Love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah*⁴. Ноа больше всего любит звуковую дорожку номер шесть, песню на французском, наполняющую ее каким-то приятным напряжением, хотя она не понимает

³ Я твой фанат (англ.).

⁴ Любовь – не марш побед, а холод разбитых «Аллилуйя» (англ.).

ни единого слова. Иногда по утрам, когда есть время послушать только одну песню, они спорят, какую из этих двух поставить. А через стену, в доме семьи Закиян, нет споров. Моше за рулем автобуса, и у Симы полная свобода слушать музыку по своему выбору и только то, что ей хочется. Ее компакт-диск этого месяца: *Caramel, bonbon et chocolat*⁵, собрание французских песен о любви, выпущенное известной израильской компанией звукозаписи. Французский Сима знает с раннего детства; мама ее, благословенна ее память, учила Симу языку, когда девочка была еще крошкой. «Французский – это язык красоты», – говорила мама, настаивая на том, чтобы слова выговаривались безупречно, легко, непринужденно. Мама также учила ее, что Бог, Он прежде всего в сердце, а все остальное – толкования, предписания, правила – только несущественные дополнения. И отец, оставляющий своих дочерей, не имеет Бога в сердце своем, даже если он исполняет все 613 заповедей. Когда Сима слышит, как поет Нино Феррер, она мечтает о стройных французских мужчинах с хорошо подстриженными усами и вспоминает, как ее мама моет полы в их скромной квартире в Ашкелоне, танцуя при этом со шваброй, и концы ее черных длинных волос раскачиваются в такт музыке.

В доме скорбящих не слушают музыку. Никто не объявлял официальный запрет, но сразу после похорон в доме воцарилась тишина. Иногда, когда отец Йотама чувствует, что

⁵ Карамель, конфеты и шоколад (*фр.*).

все это ему невмоготу, он спускается к своей машине и, закрыв двери, настраивает радио на программу «Беседы с радиослушателями». Не слушать, только слышать успокаивающее бормотание других людей. Иногда, когда мама Йотам чувствует, что не в силах больше терпеть, она включает маленький радиоприемник на кухне, тихонько-тихонько слушает одну песню и сразу же выключает.

Когда Йотам больше не может, он уходит в поле.



В конце концов я попросил мальчика подойти. Спросил его, знает ли он, куда исчезают наши газеты. Он указал на крышу из асбеста. С того места, где я стоял, нельзя было видеть, что там, на крыше, поэтому я изобразил рукой вопрошительный знак. Он в ответ тоже подал мне знак: «Следуй за мной». Мы карабкались по каменистому склону, осторожно обходя выбоины, пока не достигли небольшого бугорка посреди поля. Взобравшись на бугорок, мы обозрели асбестовую крышу. Там покоились десятки свернутых в трубку газет. Разносчик, по-видимому, просто ленился спускаться вниз и оставлять газету у двери, поэтому пытал счастья в их метании.

– Спасибо, – сказал я мальчику. Он вежливо ответил: «Не стоит благодарности» – и, опустив плечи, вернулся к своим

занятиям.

– Парень, – позвал я. Мне просто захотелось задержать его. Что-то в нем, в его опущенном взгляде, в этих подвернутых брюках и рубашке со слишком длинными рукавами, в кроссовках с выставленными демонстративно наружу большими белыми языками, в движении его рук, какими он всегда гладит кошек, – что-то в нем тронуло мое сердце. Кроме того, мне совсем не хотелось возвращаться к статистике.

– Как тебя зовут? – спросил я его.

– Йотам, – ответил он.

– Очень приятно, меня зовут Амир, – сказал я и протянул руку. Он легонько пожал ее своей маленькой ладонью, быстро отдернув ее назад. «Что же теперь? – подумал я. – Как продолжить знакомство?»

– Хочешь, поиграем? – Я отчетливо слышал себя, произносящего это. Он бросил на меня краткий взгляд, оценивая мой рост, и выпалил:

– Во что?

Он прав. С чего это вдруг «играть»? Во что могут играть два человека, которых разделяет пропасть в пятнадцать лет? Я пытался что-нибудь придумать, прежде чем он убежит. Но все игры, пришедшие мне в голову, явно устарели, их срок привлекательности давно истек. «Атари». «Эрудит». «Монополия».

Мне в глаза бросился ржавый железный столб, торчащий из земли. Я вспомнил, что папа во время наших прогулок и

экскурсий играл со мной, бросая камни в цель.

– Поглядим, кто первый попадет в этот столб, – сказал я.

– Ладно, – согласился он, поднял камень и метнул его. П слышался звон металла. Он попал в «яблочко». «Отлично, – подумал я, – я имею дело с профессионалом».

– Посмотрим, кто первый попадет в банку из-под колы, – сказал я.

– Где?

– Вон там, рядом с мусорным баком.

И так мы продолжали. Покончив с колой, перешли к пластиковой канистре. От канистры – к дальнему валуну. Пока он вдруг не сказал:

– До свидания, я должен уходить. – И побежал к своему дому. Я крикнул ему вслед:

– До свидания, Йотам.

Но он не оглянулся. «По-видимому, ему не очень понравилась игра, – подумал я про себя. – Да и партнер чуть великоват для него».

На следующий день, когда Ноа была на занятиях, он появился у моей двери. С нардами в руках.



Сейчас перерыв. Нам позволен только один в день. На полчаса. Если мы задерживаемся дольше, Рами, подрядчик,

кричит и снижает нам зарплату, которую и без того приходится из него выколачивать. Джабер выкладывает питы, Наим – *лабана*. Наджиб и Амин достают овощи и начинают резать салат. Мне делать ничего не дают, потому что я старше всех. «Шейх Саддик», – называют они меня иногда, чтобы позлить, хотя в работе я и проворнее, и опытнее, чем все молодые. Со мной не бывает сюрпризов. У меня не найдут отклонений ни на миллиметр, сколько ни измеряй. Когда дело доходит до заливки цемента, я по десять раз проверяю все соединения и крепления.

– *Тфадаль*⁶, – Наим передает мне кусок питы и пластиковую баночку с *лабана*.

– *Шу́кран*⁷, – говорю я, и рот мой наполняется слюной еще до того, как я опускаю питу в *лабана*. *Лабана*, которое делают в деревне Наима, знают во всей округе. Подобного *лабана* не найти даже в самых дорогих ресторанах – в меру кислое и в меру мягкое, – каким оно и должно быть. Я пробую немного и передаю Рами. Он как раз занят спором с Самиром о различиях между еврейскими и арабскими девушками.

– Наши девушки намного зажигательнее, – говорит Самир, – с ними у тебя остается место для фантазий, совсем не так, как у евреек, которые ходят полуголыми.

Амин так не думает. Наим и Джабер тоже присоединяются к беседе. Я, который уже тысячу раз слышал подобные

⁶ Пожалуйста (*араб.*).

⁷ Спасибо (*араб.*).

разговоры о девушках и наизусть знаю все их рассуждения, отхожу чуть в сторону, усаживаюсь, прислонившись к стене под углом, позволяющим мне видеть дом, по поводу которого я даже спустя месяц все еще не пришел к окончательному решению.

На долгие годы я вообще забыл об этом доме. Мне было четыре года, когда нас изгнали из дома, возможно даже пять, не знаю; *джара*⁸, где хранилась моя метрика, так и осталась в доме, из которого мы убегали. С тех пор я обо всем забыл, но именно в тюрьме вспомнил. Нет, я не сидел много лет, всего шесть месяцев. Нет, я не герой интифады, не полевой командир, я всего лишь «оказывал содействие террористической деятельности», да и то получилось случайно. Я подвез в своем автомобиле парня, который намеревался напасть с ножом на солдата, стоявшего на посту у ворот израильской Гражданской администрации; я взял его в попутчики, не догадываясь, что у него под курткой огромный нож, не зная, что служба безопасности, *махабарат*, уже засекла моего пассажира и дожидалась его на месте. Не то чтобы они поверили мне на допросах. С чего это вдруг они станут верить тому, что говорит араб? Отвесили мне пару-тройку звонких пощечин. Трясли меня. Выкрутили мне руку, а затем – каждый палец в отдельности. Но доказательств у них не было, да и парня они схватили еще до того, как он успел пырнуть ножом солдата, поэтому мне дали только шесть месяцев тюрь-

⁸ Глиняный кувшин (*араб.*).

мы. Легко отделался, как говорится. Но эти полгода, ей-богу, для меня словно сто лет – эти мысли о жене, о сыновьях, и время, время, которое в тюрьме застывает. Даже если есть переключка по утрам, переключка в полдень, и даже если сам Мустафа Аалем, осужденный на двадцать лет, давал мне в день два урока иврита, потому что знал иврит лучше евреев. Но время все равно не двигалось. Ты лежишь ночью в постели, уснуть не удастся из-за блох, из-за мощного храпа, а в спертом воздухе дышать невозможно, и потому, что ничего нельзя сделать, ты начинаешь воображать, ты видишь джиннов, *яани́*, демонов, расхаживающих по комнате, слышишь голоса, нашепывающие тебе в ухо, и под утро, когда ты уверен, что ты уже *маджнун*⁹ и готов расплакаться от страха, – вдруг накатываются на тебя воспоминания, о которых ты и не знал, что они вообще живут у тебя в голове: лицо мальчика, он был твоим другом давным-давно, пощечина, которую однажды влепил тебе отец, тот самый дом, дом, покинутый тобой. Словно из дыма *нарги́ле* появляются комнаты, одна за другой, маленькая кухня, вечно заполненная множеством кастрюль, туалет с такой низкой дверью, что отцу приходилось входить туда, согнувшись, маленькая ступенька, на которую надо ступить, проходя в гостиную, три матраса, оставленные там для Мунира, для тебя, для Марвана; вообще-то, не так – сначала твой, потом Мунира, а уж потом Марвана; разрисованные плитки пола, одна из которых, в правом уг-

⁹ Безумный, одержимый джинном (*араб.*).

лу, разбита, тяжелая дверь, закрываемая с легким скрипом, двор, в котором ты и твои братья играли, окно с аркой, похожее на арочное окно дома, на который я сейчас смотрю. Дом, принадлежащий семье, имени которой я до сих пор не знаю.

Вчера в перерыве я пошел посмотреть, что за имя написано на двери. Молодая женщина с глазами тигрицы вышла из дверей нижнего этажа и спросила:

– Чем я могу вам помочь?

Я растерялся, не знал, что и сказать, и поэтому попросил:

– Можно ли попить немного воды?

А она спросила:

– Вы работаете у Мадмони?

И я ответил:

– Да.

Тогда она спросила:

– Так почему же он не дает вам воду?

Но все-таки зашла в дом и вернулась с бутылкой, а я сказал:

– Спасибо.

Я не знал, что мне делать со своими глазами и уставился на свои ботинки, разглядывая пятна извести, а потом развернулся и пошел к дому Мадмони и даже попил из бутылки прямо на ходу, хотя пить мне совсем не хотелось. Чтобы она не подумала, будто я обманывал ее, но она, по-видимому, меня не видела, потому что я слышал, как резко захлопнулась дверь.

– Ялла¹⁰, Шейх, возвращаемся к работе, – прервал Амин мои мысли, которые весь перерыв крутились в голове, словно бетон в бетономешалке. Он стоял надо мной, протягивая мне руку. Я встал сам. Я не какой-то там старик, которому надо помочь подняться.



Добрая душа эта Ноа, ничего не скажешь. Вчера я должна была сходить в минимаркет «Дога» за подгузниками и не хотела оставлять детей одних, поэтому постучала к ним в дверь. Она открыла в белой пижаме, разрисованной маленькими овечками, наверно, чтобы ночью было что пересчитать, когда им не спится, и тут же согласилась присмотреть за детьми, хотя я видела в гостиной раскрытую книгу; она точно была чем-то занята, но только сказала:

– Предупреждаю тебя, Сима, что я не очень-то разбираюсь в детях.

А я ей сказала:

– Отлично, моя милая, это и есть твой шанс: потренируешься на чужих детях, прежде чем заводить своих.

Она засмеялась всем своим телом – все овечки зашевелились – и сказала:

– До этого еще очень далеко.

¹⁰ Давай! (араб.).

На это я ей ответила:

– Почему же? Сколько тебе лет, что ты так говоришь?

Она:

– Двадцать шесть, то есть через месяц у меня день рождения.

Я ей говорю:

– Вот потеха, мне тоже двадцать шесть.

Она открыла свои большие глаза и сказала:

– Неправда, ты меня разыгрываешь.

Я прикинулась обиженной:

– Почему? Я выгляжу такой старой?

Тут она покраснела, бедняжка, начала заикаться:

– Нет, нет, с какой стати, я просто подумала, из-за детей, чего это вдруг, Сима, ты выглядишь великолепно, даже Амир так сказал.

– Спасибо, спасибо, – сказала я, сделала позу «красавицы Нила»: вздернула нос, подобрала волосы движением, которое очень любит Моше, и снова все овцы на ее пижаме зашевелились, а потом наступила тишина, и каждая из нас мысленно производила сравнение. Мне кажется, она немного меня жалела, но не уверена, а сама я в эту минуту чуть-чуть пожалела, что утром не накрутилась. Во всяком случае, я подвела черту:

– Ялла, милая, соберись, я тебя жду.

Она ответила:

– Через пятнадцать минут я буду у тебя, только приму

душ.

Дождаясь, пока придет Ноа, я чистила апельсин для Лирона и думала: «Нечего меня жалеть». Верно, я не хожу в университет каждый день, не наряжаюсь, как она, в красивые юбки (какие у нее ноги, прямо манекенщица!). Это правда, я не встречаю элегантных парней, не сижу в кафетерии, не расхаживаю с фотокамерой последней модели, которая стоит по меньшей мере десять тысяч шекелей (так Моше говорит), но все это не стоит и минуты, проведенной с детьми. Например, вчера, когда Лилах, моя младшенькая, исследовала большой палец моей руки: разглядывала его, тянула, совала себе в рот. Затем она занялась моим мизинцем. Я чуть со смеху не померла от ее серьезности и основательности. А неделю назад Лирон с серьезным лицом сказал мне: «Мама, ты самая красивая из всех девочек, и я хочу, когда вырасту, на тебе жениться». Что может с этим сравниться? Кроме того, я еще вернусь к учебе. С Моше об этом уже договорено. Когда дети чуть подрастут. Я еще выучусь и буду работать по специальности, как профессионал. Это не горит. Всякая отсрочка к добру, как говорится. Вот о чем я размышляла, когда чистила апельсин для Лирона. Лилах начала плакать. Так это всегда. Каждый раз, когда Лирон что-нибудь получает, она начинает завывать. Даже если совсем этого не хочет. Я пощекотала ступни ее ножек, чтобы она успокоилась, и протянула свою вторую руку к блюду с апельсинами, но тут услышала шаги за дверью и подумала, что это Ноа. Я поло-

жила апельсин на стол и поднялась, чтобы открыть ей.

Арабский рабочий, один из тех, что работают у Мадмони, поднимался по лестнице полукругом, ведущей к Аврааму и Джине. «Простите, вы кого-то ищете?» – спросила я. Он начал заикаться. «Нет, то есть да, так сказать, нет». Мне показалось, что я поймала его на горячем. Но чего именно он хотел? Вдруг он попросил воды. «Почему воды? Мадмони не дает вам воду?» – «Нет, не дает». Я набрала воды в бутылку из-под колы и принесла ему. Лирон выглядывал из-за моей спины, страшно перепуганный. Лилах продолжала ныть: «Хочу *пильсин*, хочу *пильсин*». Глаза рабочего смотрели в землю. Его опущенное лицо было красным. Возможно, от стыда, но может быть, от солнца. Не знаю. Он взял бутылку, сказал: «Большое спасибо, госпожа». И ушел.

Когда пришла Ноа, я рассказала ей о том, что произошло.

– Необходимо сообщить в полицию, – сказала я. – Поди знай, что это за человек и что он замышляет.

– Успокойся, – негромко заметила Ноа, – он всего-навсего хотел пить.

– Но кто пообещает мне, что он больше не вернется? – спросила я, взяла Лилах из кровати и прижала ее к груди. Теперь она всерьез расплакалась. Орала во весь голос. – Мне это не нравится, Ноа, араб, который крутится у нас во дворе. А что, если он задумал похитить мою малышку? – Ноа нежно погладила мягкие, пушистые волосы Лилах. Двумя пальцами, вперед и назад. Девочка взглянула на нее своими зе-

леными глазами (этот умопомрачительный цвет не от меня, это у нее от Моше) и постепенно перестала плакать. – Вот видишь, – сказала я, – почему же ты говоришь, что не умеешь ладить с детьми?

– Да ладно, с Лилах это не фокус, она ведь замечательная девочка, – ответила Ноа, а я почувствовала, как гордость распирает меня изнутри, хотя я и знала, что она немного льстит мне. – Вперед, Сима. – Она положила руку мне на плечо: – Отправляйся уже в «Догу».

– А как насчет... – Я хотела высказать свои опасения.

– Все в порядке, я никому не открою дверь, – перебила меня Ноа, бросив взгляд на часы. – Иди. Еще немного, и они закроются.

Я взяла кошелек и ушла. Выходя на улицу, я посмотрела на рабочих, делающих пристройку у Мадмони, искала того, кто просил у меня воды. Его там не было. Там были только два молодых парня, которые клали кирпичи, оба окинули меня голодными, хищными взглядами. Я сделала вид, что совсем их не замечаю, и пошла немного быстрее.



Еще на первом в семестре занятии нас предупредили: «Остерегайтесь этого». Преподавательница, склонившись к микрофону, сказала:

– Существует хорошо известное явление среди студентов, изучающих психопатологию: они склонны, сильно преувеличивая, приписывать себе некоторые психические заболевания, которые анализируются в ходе учебного процесса. Это происходит во всем мире, поэтому не стоит пугаться, ладно? – Эти слова она произнесла в микрофон, а аудитория ответила ей бурным смехом, прокатившимся по всему залу, от первых рядов и до самых последних. Мы?! Пугаться?!!

Сейчас утро. Дом пуст. Время от времени тишину пронзают звуки мощной электрической дрели, доносящиеся со стороны дома Мадмони. Я сижу перед книгой «Анормальная психология» Розенмана и Зелигмана, третье издание, и вот это происходит со мной. В точности как она и предсказала. Обсессивно-компульсивное расстройство? Ясно, что именно оно. Вчера я дважды возвращался, желая убедиться, что не оставил включенным газ. И еще один раз вернулся, чтобы проверить: запер ли я дверь и на верхний замок. Проявление фобии? Несомненно. Как еще назвать страх перед собаками, который появился у меня после того, как в Хайфе, когда мне было шесть лет, меня укусила немецкая овчарка, и с годами этот страх только нарастает? А тревога, что с тревогой? Человеку достаточно, чтобы у него наблюдались шесть из десяти симптомов хронической тревоги, пишут Розенман и Зелигман, и тогда это классифицируется как патология. Со страхом и трепетом я подсчитываю, сколько же у меня симптомов, стараясь не обманывать себя, как я это делал, отвечая

на вопросы «Проверь себя» из приложения для юношества к газете «Маарив», и обнаруживаю только три. А поскольку мое сердце сильно бьется при подсчете, я добавляю еще и «учащенный пульс». Итого: четыре.

Еще два, всего только два, и я пересеку тонкую грань, отделяющую нормальное от ненормального. А уж тогда я ничем не буду отличаться от членов клуба «Рука помощи» из Рамат-Ганы. Через две недели я должен начать там работу волонтера. Говорят, это улучшает шансы на поступление в магистратуру.

– Это не больница, – объяснила мне Нава, координатор, в процессе предварительного разговора, состоявшегося вчера в подвале с плесенью по углам и на потолке. («Почему их помещают в подвал, построенный как бомбоубежище? – думал я, спускаясь вниз по лестнице. – Чтобы защитить их от мира или чтобы спрятать от него?») – Это социальный клуб, – пояснила Нава. – Люди приходят сюда после выписки из психиатрических больниц. Большинство из них принимают лекарства, некоторые живут со своими семьями, а некоторые – в специализированных приютах под патронажем социальных служб. Наша задача состоит не в том, чтобы спасти их или вернуть им здравомыслие, а в том, чтобы дать им возможность приятно провести время в клубе. Поэтому мы предпочитаем называть их «члены клуба», а не «пациенты», хотя лечебное значение этого места не вызывает никаких сомнений.

Пока она говорила, я про себя думал: «Почему все здесь так запущено? Слова ее прекрасны, но стены в трещинах, в подъезде стоит запах мочи, а рисунки, которые кто-то нарисовал тушью на листах формата А4, висят криво. В чем проблема повесить их прямо?»

– Ты и представить себе не можешь, с каким нетерпением члены клуба ждут тебя, – оборвала Нава мои мысли. – Они буквально считают дни.

Я понимающе кивнул головой, смело посмотрел ей в глаза, и мне вдруг ужасно захотелось встать, просто встать и бежать вон из этого бомбоубежища, на свежий воздух, к солнечному свету. Реально почувствовав, как напрягаются мышцы ног, я уже готов был вскочить с места, но в самую последнюю минуту остановил себя и сказал Наве:

– Четверг для меня наиболее удобный день.



Когда Ноа возвращается домой, Амир рассказывает ей о тревогах Розенмана и Зелигмана, и на одном дыхании – о сыне соседей, появившемся вдруг у их дверей, уже во второй раз. И она все выслушивает, погружается в долгое молчание, но наконец отвечает. Но только она, которая так хорошо его знает, может произнести столь точную фразу, не имеющую, казалось бы, прямого отношения к тому, о чем он только что

рассказал, но вонзающуюся, как стрела, прямо в грудь:

– Амири, – тихо говорит она, перебирая его волосы, закручивая их кольцами и распрямляя, – знаешь, это просто поразительно. Ты предельно строг к самому себе и так мягок и нежен с другими.



И во второй раз он не спросил меня о Гиди. Мы играли в нарды, и в шашки, и в поддавки, такая смешная игра, которой он научил меня: цель игры состоит в том, чтобы противник «съел» все твои шашки, а выигрывает тот, у кого шашек больше не осталось. Иногда он вставал и приносил нам еду, ломоть хлеба, намазанный шоколадной пастой, и арахисовые снеки из огромного пакета, этот пакет Ноа, его подруга, которая без них жить не может, покупает себе каждую неделю. Приносил он и что-нибудь попить: ананасовый сок из концентрата, разбавленного водой, который мне не особо нравился, но сказать об этом было неудобно. В перерывах между играми мы еще и говорили, в основном о футболе. Он болеет за тель-авивский «Хапоэль», а я за иерусалимский «Бейтар», так что в шутку мы немного злились друг на друга. Он вновь и вновь описывал мне, словно футбольный комментатор, знаменитый гол, который Моше Синай забил много лет тому назад, когда я еще не родился, и этот гол разрушил все

надежды «Бейтара» выиграть чемпионат страны:

– Янка Экхойз навешивает мяч, Синай готовится к удару, и... мяч влетает в верхний угол между штангой и перекладиной!!!

А я накидывался на его несчастную команду, которая все время проигрывает, особенно в важных играх; мы также обнаружили, что есть еще и телевизионный сериал, который мы оба любим: «Звездный путь: Следующее поколение». Поговорили мы и о героях фильма, он сказал, что его любимая героиня – Диана Трой, психолог на корабле, которая способна читать чувства людей, что создает множество забавных ситуаций, например в эпизоде, когда она узнает, что Уильям Райкер влюблен в нее, еще до того, как он открывается ей. А я сказал, что больше всех люблю Уэсли Крашера, молодого навигатора, а он спросил:

– Почему?

Я ответил:

– Потому что он очень храбрый, а еще потому, что он немного похож на моего брата Гиди.

Он, оторвав глаза от шашечной доски, спросил:

– Брата, который погиб?

И тут я понял, что он действительно знал о Гиди, просто не хотел надоедать мне своими вопросами, и внезапно, именно потому, что он спросил о Гиди так, будто спрашивал меня, не хочу ли я еще сэков, мне захотелось рассказать ему, – ему, а не школьному консультанту-психологу, которая

всегда наводит порядок на своем столе, когда со мной разговаривает, и не маме, которой и без меня забот хватает, и не папе, который живет внутри себя, как улитка, – я хотел рассказать ему, что я чувствую, но в горле начало жечь и глаза наполнились солью, я даже не мог видеть, что происходит на доске, а Амир молчал, не сдвинулся со своего места на ковре, тихо ждал, пока я заговорю, но я не знал, с чего начать, какими словами сказать это, и прежде чем я успел найти первое предложение, даже самое обычное, чтобы только начать, – открылась дверь и вошла его подруга.

Они слились в крепком и долгом объятии, так мама и папа давно не обнимались, а она улыбнулась мне и сказала:

– Значит, ты Йотам? Я о тебе много слышала.

Она протянула мне руку, а я не знал, что сказать ей, потому что ничего о ней не слышал, кроме одного раза, когда кто-то позвонил в разгар игры и Амир сказал: «Как она? Как всегда, прекрасна и беспокойна». Но это не считается, потому что я не уверен, что он говорил о ней, хотя из того, что я увидел в этот момент, она действительно была красивой, насколько я разбираюсь в девушках.

Во всяком случае, я сказал только «да», а она бросила взгляд на стол и сказала:

– О, я вижу, что еще кто-то, кроме меня, любит арахисовые сэнки. И я опять не знал, что сказать, потому что не уловил, сердится она из-за того, что мы взяли сэнки из ее запасов, или просто пошутила. Поэтому я сказал только:

– Ладно, я пойду.

Амир тут же вскочил:

– Куда ты убегаешь?

А она встала рядом с ним и добавила:

– Ты вполне можешь остаться.

Но я не захотел, мне вдруг стало тесно в их квартире, и желание разговаривать тоже пропало. Итак, я перевернул доску, собрал все шашки (все равно я должен был проиграть эту партию через несколько секунд), закрыл железный крючок на сложенной доске, сунул доску под мышку и пошел.

* * *

Ночь опускается на Кагель, Маоз-Цион. В доме семьи Закиян гасят последний свет. Отныне и до утра будут мерцать только маленькие огоньки, которые никто не берет в расчет. Часы электрической духовки. Часы видеоманитона. Аварийный ночник рядом с холодильником. В соседнем доме, где скорбят по погибшему сыну, уже давно темно. Только поминальная свеча горит в гостиной, язычок пламени трепещет от каждого дуновения ветра. Родители Йотама в постели, спина к спине, не спят. Оба они нуждаются в объятии, но не поворачиваются друг к другу. Папа думает: «Завтра ровно месяц. Надо позаботиться о том, чтобы привезти на кладбище тех, кто сам не сможет добраться». Мама думает: «Что будет с мальчиком? Уроки он не делает, болтает-

ся целый день неизвестно где, куда-то исчезает». А Йотам уже заснул. Видит во сне лес, в нем растут деревья с толстыми стволами, достигающие небес. На одно из таких деревьев взбирается Гиди, и внезапно он превращается в Амира, соседа, с которым Йотам играл в нарды. Уже два раза.

А сосед Амир закрывает книгу «Методы исследования», ибо сколько же можно пахать. Он идет к холодильнику, находит там только шоколадный десерт с истекшим сроком годности. Возвращается в комнату, чешет в затылке, ставит книгу в шкаф. Ставит на место и две толстые папки с бумагами.

Самое время выйти на улицу, подышать немного звездами.



Моменты, когда Амиру трудно быть Ноа-и-Амиром.

Когда она устраивает беспорядок в доме, утверждая при этом, что только так она чувствует себя комфортно. Что места, где все слишком упорядочено, создают у нее чувство, будто она в тюрьме. И желание сбежать. «Ерунда, – говорит он ей, поднимая брошенное на ковер влажное полотенце, использованную бумажную салфетку и нижнюю юбку, – это никак не связано ни со свободой, ни с тюрьмой. Это просто потому, что ты лентяйка».

Когда она мешает ему смотреть футбол, особенно – игры

его любимой команды, в миллионный раз спрашивая: «Это правило, «вне игры», как оно точно работает?»

А также: когда ее потребность в творческом пространстве становится агрессивной. Когда все, что ее волнует, это «кадры», «сканы», «негативы». И внезапно она его в упор не видит. И все ее тело говорит ему: «Уходи!» В такие моменты он клянется, что отомстит ей. Надо подождать, пока она снова не захочет быть рядом, и именно тогда выказать отчуждение, умышленно не замечать ее. Или, наоборот, рассердиться, поднять крик до небес. Но он, Амир, совсем не такой. Пока, по крайней мере.



На сегодня достаточно возиться с альбомом. Со следующей страницы уже начинается серия черно-белых снимков, серия фотографий Амира, сделанных дома, снимков контрастных, драматичных, на которых он выглядит киноактером 1950-х. Особенно на снимке, где он в ванной, когда бреется, со следами пены, оставшейся возле ушей. Когда я смотрю на эту фотографию, то реально могу уловить его запах. Что-то среднее между ванилью и корицей. И это действительно слишком. Хватит, Ноа. Что было, то было. Теперь – закрыть альбом, подойти к книжному шкафу и спрятать его за энциклопедиями.



Ее смена в кафе заканчивается в полночь. В половине первого она уже дома. Но незадолго до этого я поднимаюсь на ступеньки лестницы дома Закияна. Она любит, когда я жду ее на улице, и каждый раз это волнует ее сызнова, а я, после целого дня конспектирования разделов книги, с единственным перерывом на игру в нарды с Йотамом, во время которой мы молчим, – я уже тоскую по ней. Но, с другой стороны, а у меня всегда есть другая сторона, шевелится во мне крошечное желание побыть в одиночестве еще немного. Шевелится и замирает.

В этот час на улицах Кастеля нет прохожих. Ветер доносит слабое бормотание телевизора из дома семьи Мадмони. Голубоватый свет пробивается из окон их первого этажа. Пристройка к дому погружена во тьму. По сути, она еще не существует. Они строят ее сейчас. Чем больше мои глаза привыкают к темноте, тем больше деталей я различаю. Строительные леса, железная арматура, перевернутые ведра, разбросанные повсюду, и что-то светлое, похожее на питу, прямо посреди крыши. Рабочие-строители уже ушли, разве что кто-то из них остался ночевать в маленькой хибарке, сколоченной под домом. Если кто-нибудь там и есть, то наверняка он мерзнет от холода. Всего лишь конец октября, но здесь,

в Иудейских горах, холодно. Я энергично потираю ладони, а затем втягиваю их в рукава свитера.

Яркий сноп света, пронзивший тьму, осветил дома в конце улицы. Что-то похожее на микроавтобус, обычно подвозящий ее домой, медленно ползет по дороге. В моей голове созревает коварный замысел. Я позволю ей, погруженной в свои мысли, выйти из машины, позволю пересечь улицу, подожду, пока она не подойдет к самому подножию лестницы, на которой я стою, дожидаясь ее, и только тогда обаятельным тоном ведущего ночных программ на радио произнесу: «Здравствуй, Ноа, Маоз-Цион приветствует тебя...». Нет, нет, этот план я отметаю напрочь, она перепугается. Возможно, даже рассердится. Зачем мне все портить? Через несколько дней будет ровно месяц с тех пор, как мы переехали в Кастель, и, как я написал Модии, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, до сих пор все в порядке. Мы не ссорились, по крайней мере, крупной ссоры не было. Секс бурный, острый, самый лучший из бывавших когда-либо. И то, как она понимает меня изнутри, позволяет ей одной фразой, преодолев все мои защитные барьеры, коснуться истины. И еще: как мило она собирает волосы после душа, водружая на голову тюрбан из полотенца, и легкими шажками топает по дому, и повсюду капает, капает.

Верно, существует какое-то напряжение, непрерывно ощущаемое подспудно, словно акула, скользящая под слоем чистой воды. И даже в минуты нашей предельной близости

я чувствую, как моя собственная тень все удаляется от нас, рвется в иное место. А когда утром я еду в Тель-Авив и мой «Фиат-Уно» вырывается из долины Шаар ха-Гай на скоростную трассу, я чувствую, что и сам вырываюсь, преодолевая пролив Тяжелой Беды. Но, быть может, так оно и есть. Именно это и есть жизнь вдвоем.

Микроавтобус останавливается. Она выходит из машины и благодарит водителя. Когда она наклоняется, взору открывается самая красивая ключица в мире. Еще несколько поездок, и водитель тоже влюбится в нее. Она машет ему на прощанье, оборачивает вокруг себя черный шарф и одним движением высвобождает волосы, попавшие в ловушку между шарфом и шеей. Затем она прячет свои маленькие кулачки в рукава длинного красного пальто (однажды ночью она в мою честь надела это пальто дома, а под ним были только трусики) и своей подпрыгивающей, взрывающейся из-под пальто походкой зашагала в мою сторону.



Тем временем в Тель-Авиве начинают возводить сцену. Тянут провода, волочат доски, устанавливают столбы освещения. Один танк «Центурион», еще с дней выставки бронетехники, которую Армия обороны устраивает ежегодно в праздник Суккот, так и остался на площади. И вот те-

перь менеджер по логистике, управляющий командой, готовящей предстоящий митинг, умоляет по мобильному телефону главного офицера выставки: «Уберите отсюда танк, пока не поздно!» Но не держите менеджера по логистике за простачка. У него есть тайная мечта. Он хочет написать книгу, а затем подписывать ее у стенда издательства во время Недели ивритской книги. И чтобы громкоговорители объявили всем: «Писатель подписывает свою книгу!» А люди будут стоять в очереди. У него даже есть идея книги, захватывающего романа на фоне Войны за независимость. И заглавие есть: «Бирма», по названию обходной дороги в Иерусалим. Но времени писать книгу у него нет. Жена. И дети. И эта работа, бездонная яма. К примеру, митинг в субботу вечером. Всенародное собрание в поддержку мира. Говорят, что придут сто тысяч человек, и Рабин, и мэр Тель-Авива, который тоже захочет сказать речь. А если случится *фаш-ла*¹¹, даже самая мелкая, – плохо будут работать громкоговорители, не уберут оставшийся на площади танк, – не помогут никакие отговорки. Начальник без колебаний учинит ему разнос. «Так уж лучше, – говорит он строго самому себе, – вернуться к работе. Без промедления». Позвонить, все устроить, все проверить. А мечты отложить на другие времена.

¹¹ Неудача (араб.).



– Вдруг сегодня, посреди лекции, я жутко заскучала по тебе.

– Какой кайф для меня.

– Я реально хотела встать, и выйти, и поехать прямо домой.

– Почему же не встала?

– Ты знаешь...

– Вставай, вставай, приму тебя с радостью, а из всей одежды на мне будут только трусы.

– И с крепкими объятиями?

– Конечно же, с крепкими объятиями. Почему? Что-то случилось на лекции?

– Ничего особенного. Просто бывают такие дни, когда вся эта академия Бецалель кажется мне одним большим лабиринтом, а я в нем – мышка. И любой, даже самый незначительный разговор стоит мне много крови, и мне кажется, что в целом свете меня никто не любит, нет, хуже того, что во мне есть что-то твердое внутри и это не позволяет людям любить меня.

– С чего ты это взяла?

– Это – словно тигр, заморенный голодом, впивается когтями в мое горло и не отпускает.

– Да, знакомо.

– И это знакомо? Что же будет, мы слишком похожи друг на друга.

– Ничего подобного, ты разводишь бардак, а я навожу порядок.

– Сколько еще раз мне объяснять тебе, я не развожу бардак. Я – свободна.

– Звучит как песня Риты: «Я не развожу бардак, я – свобо-о-о-о-дна».

– А Гиди Гов и Мази Коэн – на бэк-вокале.

– В сопровождении Стива Миллера и его ансамбля.

– Ансамбль – он же – стая – тигров, заморенных голодом.

– Подойди сюда на минутку. Да. Ближе. Еще. Ты, Ноа, защитишь меня от моего тигра, а я защищу тебя от твоего тигра, ладно?



В конце месяца взорвался электрический бойлер. Никто еще не знал, что речь идет о метафоре. Кто-то – Амир, или Ноа, или кто-то из семьи Закиян – просто забыл отключить его, и чуть позднее часа ночи все внезапно взорвалось. Страшный грохот, похожий на раскат грома, только короткий. Гейзер взметнулся в ночной воздух, выстрелил и обрушился вниз. По большей части на крыши, но немного – на дикое поле.

В считанные секунды все вышли из дома. Моше, и Сима, и Амир, и Ноа, и Йотам, и мама Йотама. (Папа продолжал спать: взрыв отлично вписался в его сны про войну.)

В первые секунды все подумали о худшем (землетрясении, ракете «Скад», даже террористическом акте), но когда с крыши, шелестя по асбесту, закапала, испуская пар, вода, все поняли, что случилось. Ноа вошла в дом, чтобы перевести переключатель в положение «Выключено», и ее рука наткнулась на руку Симы, которая собиралась сделать то же самое. Обе негромко вскрикнули. Амир успокаивал Йотама, размахивал руками и увещевал его:

– Иди спать, мой милый, все в порядке, это только бойлер.

Кошки организовали мяукающую группу поддержки у земляной насыпи. Моше Закиян стоял во дворе, накручивая на палец несуществующий локон, и подсчитывал, сколько это будет стоить. И решил, что займется этим завтра.

Песня

Иногда мы рэп
Стоим в гостиной, корим и упрекаем друг друга
Слова, ножи, осколки
Обрати внимание, послушай меня, йо
Ораторствуем в рифму
Иногда мы транс
Лупим по голове, по шее, швыряем подушку,
Впиваемся зубами в плечо, в задницу, потираем ляжки
*On board! Night train*¹²
Кончила? Ты можешь принести мне воды?
Но всякий раз, когда мне кажется, что я понял
Как это работает, все это ты и я Ты и я Меняется бит,
еще одна пластинка хрипит
Любовь – она нервный ди-джей
Потому что иногда мы блюз
О, до чего же мы блюз иногда
Рвется струна, грусть нам дана
Что ты сказала? Что ты сказал?
Поговорим об этом завтра
А иногда мы ивритская песня
Ивритская песня застенчивая

¹² Зд.: Занять места. Ночной поезд (англ.).

Почешу мне там, поглажу меня тут
Так почему не так, почему не так
Все время?

Потому что иногда мы Игги Поп
Или Люси в небесах

Иногда это день рок-гитар
Искажений до бесконечности.

Но всякий раз, когда мне кажется, что я понял

Как это все работает все это ты и я

Меняется бит, еще одна пластинка хрипит

Любовь – она нервный ди-джей

Меняется бит, еще одна пластинка хрипит

Любовь – она нервный ди-джей

Слова и музыка: Давид Бацри

Из альбома группы «Лакрица»,

песня *«Любовь, как я объяснил ее своей жене»*

Самиздат, 1996 год

Дом второй

Поездка прошла вполне нормально. Лилах особо не плакала, только на спуске к Иерихону с множеством поворотов ее тошнило, но я все вытирала салфетками, которые заготовила заранее, и давала ей пить минеральную воду. На шоссе вдоль Иорданской долины она уже снова улыбалась своей ангельской улыбкой, а Лирон сидел тихо и играл в «Тетрис». Обычно он настойчиво сует свою голову в пространство между двумя передними сиденьями, но Моше с этим никогда не соглашается, потому что это опасно, и всю дорогу ведутся споры, но на сей раз, благодаря «Тетрису», мальчик сидел у окна, он не поднял голову от экрана даже тогда, когда Моше воскликнул:

– Посмотрите, вот озеро Кинерет!

– Как жаль, Лирони, ты много теряешь, – сказала я ему, потому что это и в самом деле было зрелище: гигантский синий бассейн блестел среди гор, словно зеркало.

– Я не могу поверить, – громко сказал Лирон, и на секунду мы подумали, что он восхищается Кинеретом, – я побил рекорд! Я побил рекорд!

И Моше, рассмеявшись, сказал ему:

– Молодец, парень.

А Лилахи начала произносить целую речь, но слова у нее были свои собственные:

– Биди, бодо, бу, ду, джа.

Лирон, довольный собой, наконец отложил в сторону свой «Тетрис», пощекотал легонько животик Лилах и спросил:

– Мама, что больше: Кинерет или море?

Я сказала:

– Море.

Но он продолжал:

– Откуда ты знаешь?

И я ответила:

– Нельзя увидеть, где заканчивается море, но можно увидеть, где заканчивается Кинерет.

Он ничего не сказал, но выглядел довольным моим ответом, и так мы ехали вчетвером, озеро Кинерет справа, всевозможные кибуцы – слева, а греческая музыка – в середине.

– Я Элько, просто мальчик, грек, а Александр – это уж точно не я, – пел Моше вместе с Иехудой Поликером, а я барабанила по колену Моше в такт мелодии и думала: «Нет никаких сомнений, мы должны время от времени выбираться из Иерусалима, просто проветриться, особенно в такую тяжелую неделю, когда по всем телеканалам говорят о Рабине, да упокоится он с миром».

Но когда мы прибыли в дом раввина Менахема, настроение у меня тут же испортилось. Пока мы ехали, я как-то успела забыть, что визиты к брату Моше не доставляют мне большого удовольствия, поэтому мы бываем у него только два-три раза в год, но как только мы вошли и сказали:

– Шабат шалом.

Менахем ответил: «Шабат шалом у-меворах» – и тут же поднял Лирона в воздух, прижал его личико к *мезузе* и сказал:

– Парнишка, о том, что надо поцеловать *мезузу*, ты уже слышал. Тут-то я и вспомнила, почему после всех этих суббот я уезжаю с наэлектризованными волосами, до того это действует мне на нервы. Но я ничего не сказала. Не хотела портить Моше встречу со старшим братом, который его, по сути, вырастил, потому что Авраам и Джина работали с утра до ночи. Два брата обнялись, поцеловали друг друга в щеку, и Билга, жена Менахема, подошла ко мне и помогла снять куртку. Уж как я ни старалась одеваться скромно, но рядом с ней я всегда чувствую себя обнаженной. Билга не проронила ни единого слова, но взгляд ее, замерший на моих новых сережках, все сказал, да еще как! Я проверила, все ли пуговицы застегнуты на моей блузке. С меня хватит тех упреков и выговоров, которые я получила от Моше после последнего седера, устроенного в праздник Песах, по поводу нижней, а не верхней! – пуговицы, оставшейся незастегнутой на белой блузке, и все увидели – Боже, спаси и сохрани! – мой пупок. А мой Лирон тем временем присоединился к отряду носящих пейсы – к четверем сыновьям Менахема, порядок имен которых по старшинству я так до сих пор и не сумела запомнить, – и отправился с ними во двор. Лилах была передана Хефцибе, старшей дочери Менахема и Билги, красавице, ко-

торая не поднимала глаз от своих лаковых туфель. Хефциба унесла ее в маленькую комнату, там их ждала Бат-Эль, новорожденная дочка Менахема и Билги, последняя, сошедшая с конвейера.

Нас пригласили в гостиную, на чашку кофе перед едой.

– Твой Лирон уже настоящий мужчина, – сказал Менахем, вручая Моше кипу и английскую булавку, чтобы кипа держалась на голове.

Моше гордо кивнул головой и надел кипу.

– А малышка, – продолжал Менахем, – твоя копия, Сима. До чего же прекрасно ее лицо.

«Этот Менахем, он знает, что надо сказать каждому», – подумала я про себя, но тем не менее не смогла удержаться от улыбки, которая невольно появилась у меня на губах.

– Скажи-ка мне, братик Моше, – произнес Менахем более серьезным тоном, – в каком состоянии *мезузы* в вашем доме?

Улыбка стерлась с моего лица. Большой палец ноги в туфле перебрался на соседний палец.

– *Мезузы* в порядке, я думаю, – сказал Моше и добавил шепотом: – Совсем недавно приходил кто-то и проверял. Почему ты спрашиваешь?

– Некоторые люди говорят, что все несчастья, которые обрушились на нас в последнее время, – это результат нашего пренебрежительного отношения к *мезузам*, – сказал Менахем.

– Я никак не пойму, – взорвалась я, – ты утверждаешь,

что Рабин умер из-за *мезузы* с изъянами?

Я не смогла сдержаться. И в моем тоне проявилось то, что я чувствовала, а это вполне могло вызвать ссору. Моше посмотрел на меня так, как обычно он смотрит на водителей, которые подрезают его на дороге. Билга стала снова помещивать кофе, хотя она уже его основательно размешала. Менахем молчал, взвешивая, как мне ответить.

– Все в руках Небес, – сказал он наконец. И посмотрел на потолок, оставив мне выбор: воспринимать его слова, ничего не говорящие по сути, как приглашение к войне или как предложение о прекращении огня.

– Может, тебе стоит пойти посмотреть, как там Лилахи? – предложил Моше. У меня было много хороших ответов на это «Все в руках Небес» Менахема. Например: «Все определено, но право предоставлено». Но мне не хотелось усугублять ситуацию, после того что я уже натворила. Поэтому я приняла совет Моше и с чашкой кофе в руке направилась в детскую. Лилах и Бат-Эль лежали там, колыбель рядом с колыбелью, а Хефциба, склоняясь над ними, пела им колыбельную, которая показалась мне знакомой. Я стояла рядом с Хефцибой, вглядываясь в лица девочек, и медленно пила кофе. Вдруг я заметила, что они похожи. То есть Лилах немного красивее, но в ее щечках и цвете глаз есть что-то, напоминающее Бат-Эль, и я заметила это впервые.

– Прямо как близнецы, – произнесла Хефциба, словно подслушала мои мысли, и я согласилась:

– Да, сильны гены семьи Закиян.

А потом спросила:

– Что это за песня, которую ты пела? Ты должна научить меня, я буду петь эту песню Лилах, когда она в следующий раз проснется в три часа ночи.

И Хефциба ответила:

– Это известная песня, разве ты ее не знаешь? – И она снова пропела слова: – Ангел, что меня от зла уберег, благословит молодых, он беду не пустит на порог. – И вдруг я поняла, откуда мне знакома эта мелодия. Хефциба продолжала петь негромко и нежно: – Имя мое и имена праотцев наших, Авраама и Ицхака, – пусть множатся им подобные в Земле нашей.

Я слушала, и память моя постепенно прояснилась, стала четкой, совсем ясной.

Ашкелон, ночь. Мой отец входит в нашу с Мирит комнату, садится на постель Мирит. Помню, как я тогда подумала: «Почему не на мою постель?» У него уже длинные пейсы и черная колючая борода. На нем белая рубашка с пуговицами и брюки черного цвета. Одной рукой он гладит мою голову, а другой – щеку Мирит; своим приятным теплым голосом он поет нам именно эту песню, но при этом еще выводя рулады и трели. Несколько раз он поет нам эту песню, пока мы не засыпаем. А на следующее утро он исчез, со всеми своими вещами, кроме пары новых кроссовок «Адидас», которые мама несколько месяцев хранила в ящике на случай, если он

вернется. Он не вернулся, но приходил навещать Мирит в ее снах, и она каждое утро рассказывала мне по секрету, чтобы мама не слышала, как папа во сне посадил ее на плечи, читал ей во сне сказку и говорил ей, что он по ней скучает – во сне.

Спустя примерно год мама узнала от соседей, что отец встречается с дочерью раввина в Иерусалиме, тогда она достала из ящика красивые новые кроссовки «Адидас» и ночью положила их возле большого мусорного бака вместе со свадебными фотографиями, но утром кроссовки исчезли, а фотографии оставались там среди мешков с мусором еще около недели, потому что в муниципалитете была забастовка и мусор не убирали.

– Довольно этой песни, – вдруг сказала я Хефцибе, проглотив комок в горле. Она моментально оборвала песню, но выглядела удивленной. По-видимому, я сказала это нервным, раздраженным тоном, хотя мне этого совсем не хотелось. Две малышки заплакали, создав идеальный дуэт – когда одна делала паузу, чтобы набрать воздух в легкие, вторая тут же подхватывала. Я взяла Лилах из колыбели, прижала к груди, чтобы ее успокоить, а заодно и успокоиться самой, и обнимала ее до тех пор, пока не пришел Моше и не позвал нас к столу. Он не мог смотреть нам в глаза. «О чем же он говорил с Менахемом?» – спрашивала я себя.

– Твоя дочь плачет, – сказала я Моше и поднесла Лилах прямо к его глазам, словно демонстрируя в суде вещественное доказательство, хотя и сама не знала, что именно пыта-

ую доказать. Он вздохнул, стараясь не замечать мой агрессивный тон, и снова попросил, почти умоляя:

– Пойдемте к столу, Билга старалась и устала, приготовила еду. Неудобно.

«Старалась и устала? С чего бы это?» – подумала я. Так он никогда не говорит. Это из речей Менахема. И всегда так. Стоит им только встретиться, а уже через минуту слова Менахема в устах Моше.

Моше взял у меня Лилах, а она прижалась к его мягкому животу, который так любила, и сразу же перестала плакать. Я мигом умерила свое недовольство – вид Лилах в объятиях Моше всегда действовал на меня успокаивающе – и последовала за ними. Мы сели за стол, уставленный яствами, на главном месте – субботняя хала, покрытая белой тканью, и два подсвечника, которые в семействе Билги передаются из поколения в поколение вместе с их легендарной историей. Менахем произнес проповедь на тему недельной главы Торы, читаемой в эту субботу, недвусмысленно намекнув, что в это сложное время, когда религиозное население подвергается несправедливым нападкам, необходимо укрепиться в нашей вере, восстановить ее былую славу и ответить всем клеветникам молитвой, обращенной к Богу, благословенно имя Его. Когда он произнес «укрепиться в нашей вере», взгляд его остановился на Моше, и у меня снова появилось ощущение, что они между собой пришли к какому-то соглашению, пока я была с Лилах. Но я ничего не сказала. Потом я подума-

ла, что мое молчание, возможно, побудило Моше ошибочно думать, будто я согласна с его братом, а также с секретным соглашением, которое они заключили. Все это – мудрствования, порожденные молчанием. В этот момент я сказала себе: «Какое секретное соглашение у тебя в голове, Сима? Они наверняка говорили об операции, которая предстоит их отцу, успокойся». И положила в тарелку Лирона салат из миски, потому что, когда он сам накладывает себе еду, что-нибудь обязательно падает на стол, и еще улыбнулась сидевшей напротив меня красавице Хефцибе, заглаживая перед ней свою вину за то, что беспричинно разнервничалась в детской. Попробовала курицу и картошку в апельсиновом соусе и попросила у Билги рецепт. И сказала: «Аминь».



Прежде всего, братан, вношу ясность. Я пишу это письмо не под наркотиками. Я не нюхал кокс, не пил сан-педро, не ел омлет с грибами. Иногда здесь курят, израильтяне главным образом, но лично я, с тех пор как прибыл в эту страну гор, не скрутил ни одного косяка. Воздух здесь слишком свежий и слишком чистый, чтобы загрязнять его дымом. Даже сладким. Почему я говорю все это? Потому что, если ты до конца прочитаешь это письмо и подумаешь, что я окончательно рехнулся, то знай: тут дело не в химикатах. Я под кайфом,

это верно, но только от красоты.

Вчера на вершине Инхиамы я от невероятной красоты даже заподозрил в первый раз в жизни, что Бог есть.

Минутку, погоди немного, прежде чем помчишься к телефону и объявишь моим родителям, что их сын потерял голову от наркоты и надо организовывать спасательную экспедицию, посылать спецназ Генштаба, наши доблестные ВВС и напечатать статью в центральной газете.

Придержи лошадей, как говорят англичане. Я вижу, как ты сидишь в своем маленьком доме (ты мне его не описывал, но у меня такое чувство, что он маленький), над тобой фотография грустного человека со своим радио (если только Ноа не сумела убедить тебя отказаться от него, но не думаю, что так случилось), на столе носки, в руке чай, источающий пар (должно быть, в Иудейских горах теперь холодно, верно?), ты перечитываешь первые строки моего письма и думаешь: куда подевался тот мой друг, которого я знаю? Где он, неумный фанат футбола? Сначала он развивает предо мной теорию о состоянии сознания, а теперь вдруг у него есть Бог. Минутку, я не говорил, что есть Бог.

Я сказал, что вчера, после трехдневного похода по извилистым тропам, я проснулся утром на рассвете. Вышел из хижины (не совсем хижина, скорее, хибарка из жести) и вдруг увидел, что нахожусь на крыше мира (мы прибыли туда накануне, затемно, эти ленивые австралийцы останавливались через каждые два метра). Я сделал несколько шагов,

сел на большой плоский обломок скалы с видом на долину. На вершине был собачий холод, и я засунул ладони под колени. Горы внизу все еще были покрыты мягкими утренними облаками, над которыми выступали самые высокие вершины. Солнце еще не показывалось, но лучи его залили все прозрачным, почти белым светом. Можешь ли ты вообразить все это? Без сирен. Без автобусов. Без урчания кондиционеров. Даже без щебета птиц. Абсолютная тишина. Не знаю, сможешь ли ты это понять, но во всем этом было что-то, вызывающее чувство благоговения. Вдруг я почувствовал, что все мои маленькие горести, вся эта нудная тоска по Ади, все это настолько мелко. Есть некий великий Порядок, может быть, Божественный (а возможно, и нет, ладно), и я в нем всего лишь запятая, самый кончик запятой, ничто. Размер моей значимости для мира подобен размеру значимости мухи на Синае.

В этой мысли было что-то утешающее, не знаю.

Потом проснулись все остальные, присоединились ко мне на скале, и магия немного поугасла. Я хотел поделиться с ними, но только одна мысль о том, что мне придется находить слова на английском для описания моих чувств, напрочь отбила у меня всякое желание говорить. Тогда я себе и пообещал, что напишу тебе, когда доберусь до городка у подножия горы, и приветствовал улыбкой Диану из Сиднея, которая этим утром – в истрепанном спортивном костюме и с взлохмаченными волосами – тем не менее выглядела как принцес-

са. (Видишь? Тебе не о чем беспокоиться, есть вещи, которые во мне неизменны.)

И вот я здесь. Мы сняли хорошую гостиницу, чтобы побаловать себя после нелегкого похода, и тут есть даже стол, на который можно положить блокнот. В окно иногда долетают голоса торговцев с индейского рынка, расположенного неподалеку. Кстати, рынок этот – явление ошеломляющее. Сегодня я гулял здесь с Дианой и думал о Ноа – то есть девяносто девять процентов времени я думал о том, как соблазнить Диану (она сегодня надела облегающие брючки с застёжкой-молнией на заднице. Сечешь?). Но время от времени закрадывалась мысль о Ноа – как бы она здесь отрывалась. Каждые два метра – будто картина для *National Geographic*. Сегодня, например, в разгар нашей прогулки начался дождь (вода стеной, будто ответственный за дождь на голливудской съемочной площадке перепутал требуемое количество). Все торговцы с открытой площадки убежали со своими товарами в крытую секцию рынка («крыша» – рваные полотнища нейлона, чтобы ты не подумал по ошибке, что они оказались в крупном торговом центре), и только одна пожилая женщина, чьим ногам уже не под силу бежать куда-либо, осталась на месте, закрыла глаза и позволила дождю всюю поливать ее. Представь себе эту картину: старая индеанка с овощами, разложенными на циновке перед ней, в середине большого песчаного участка, который на глазах превращается в грязь. Лицо ее изрезано морщинами, словно подошва ботинка. Во-

лосы иссиня-черные. И облака над головой. И еще старый автобус, задняя часть которого превращена в ларек. Красиво, не правда ли? Так чего вы ждете? Берите рюкзаки и приезжайте.

Ты написал мне, что иногда в вашей квартире нет воздуха. Что души ваши натываются одна на другую, подобно двум сталкивающимся автомобильчикам в парке аттракционов. Так *ялла*. Вперед. Приезжайте сюда. Тут у вас воздуха будет вдоволь, поверь мне. А автомобилей здесь и в помине нет. Да, я знаю, что вы теперь буржуа. Прочитал в твоём письме. Квартира. Работа. В ближайшее время – и подгузники. Но, может быть, заскочите на пару недель?

Обещаю не слишком полоскать мозги разговорами о Боге. Во всяком случае, напиши мне на адрес посольства Израиля в Лиме. (Предыдущее твоё письмо было прекрасным, но слишком коротким.) Иногда здесь по два дня ждут поезда. Старайся лучше, парень. Расскажи немного о том, что творится в стране. Есть мир, нет мира. Как сыграли «Хапоэль» и «Маккаби» в Тель-Авиве? Что будет с ансамблем Давида «Лакрица»? Мы здесь в отрыве от всего.

Твой Моди



Четвертого ноября, в тот самый день, я поехал к Дави-

ду, чтобы утешить его: от него ушла подруга, бросила его. По дороге, незадолго до перекрестка Моца, радио сообщило, что в Рабина стреляли и он ранен. Пока я доехал, он уже умер. Эйтан Хабер, и все такое... Мы сидели в гостиной перед телевизором и молчали. Давид выглядел ужасно. Худой, волосы растрепаны, погасшие глаза. С тех пор как я поселился в Кастеле, нам не доводилось встретиться. Он с головой погрузился в репетиции, готовил к выступлению свой ансамбль «Лакрица». Я был очень занят, принаравливаясь к тому факту, что теперь я не один и мы – пара. Несколько раз мы договаривались по телефону о встрече, но всякий раз в самую последнюю минуту кто-нибудь из нас вынужден был отказаться. Я не знал, как мне его утешить. Он действительно любил Михаль, любил всей своей мятущейся душой, раздираемой внутренними конфликтами. Я не знал, уместно ли вообще говорить о Михаль теперь, когда глава правительства убит. Мы молчали еще несколько минут, в полной растерянности смотрели в телевизор, где показывали происходящее на площади в Тель-Авиве, именно там стреляли в Рабина, но тут зазвонил телефон. Вдруг это она – глаза Давида загорелись – вдруг она передумала. Он быстро поднял трубку. Это была Ноа, она хотела, чтобы я поскорее вернулся домой. Ей страшно. И очень грустно. И одиноко. Она необычайно мягко сказала: «Домой», поверьте, я никогда не слышал, чтобы это слово произносилось с такой нежностью. Я неловко поднялся. Давид сказал:

– Все в порядке, брат мой, все в полном порядке.

Мы спустились по лестнице, и он проводил меня до машины.

На улице стояла мертвая тишина.

Холодный иерусалимский воздух пробирал до дрожи. Каждый из нас, скрестив руки на груди, обнял себя за плечи. Мы условились, что поговорим завтра.



Я разглядываю фотографию и ищу в ней какую-нибудь деталь, которая даст представление о дне, когда она была сделана. Накануне вечером мы поехали в Кнессет, чтобы пройти перед гробом Рабина, но там была гигантская очередь и нам не удалось войти в здание. У подножия холма, на котором разбит Сад Роз, прямо перед воротами Кнессета, вокруг зажженных поминальных свечей сидела молодежь и пела грустные израильские песни. Мы хотели к ним присоединиться, но почувствовали себя немного странно. Песня «Лети, птенец» не слишком нам подходила, а в атмосфере наивной искренности, окружавшей поющих, мы – при всем нашем желании – оказались инородным телом. Я сделала несколько снимков, главным образом продавцов кукурузных початков, расположившихся на обочине дороги со своими огромными, испускающими пар кастрюлями. А потом мы

медленно, не разгоняя машину, вернулись домой. В те дни, после случившегося, все ездили так, с преувеличенной вежливостью, будто посредством аккуратной езды пытались исправить какое-то более глубокое повреждение.

На следующее утро мы встали, и была солнечная погода, и я сказала Амиру:

– Давай пойдем в Сатаф, это ведь в двух шагах от нас. В общем, мы все пашем и пашем и никуда не выходим, и когда еще нам выпадет такой денек, что оба мы свободны.

И Амир сказал:

– *Ялла!* – Он вернул книги по психологии (когда он только успел их достать – непонятно) на полку, надел самую простую, но удобную одежду – футболку *NBA* с длинными рукавами и широкие брюки, которые, по его словам, «освобождают ему яйца». Я «надела джинсы и шляпу», как поет в своей песне Арик Лави, приготовила нам бутерброды с сыром и достала из шкафа плед для пикника.

Я снова разглядываю фотографию. Сделана она сверху, с каменного заборчика, окружающего небольшой бассейн. Амир как раз собирался выйти из воды, он опирался на руки, чтобы подняться и оказаться на суше. Тут-то я и щелкнула затвором. Его «теннисные» бицепсы – с тех пор как Моди уехал, он больше не играет, но мускулы остались, – и сейчас играли железом (зрелище впечатляющее, хотя я вовсе не схожу с ума от бодибилдеров), два глянцевых сегмента груди, на которую мне так захотелось положить голову, и его

взъерошенные волосы, почему-то наклоненные чуть вправо. Уже тогда у него было несколько седых волос, но здесь их не видно, потому что они мокрые. Две небольшие капли воды украшают его лоб, на ресницах задержалась еще одна, взгляд его выражает удивление, легкую насмешку: «Ноа, Ноа, ты снова фотографируешь?» Свет великолепен, мягкий свет начала ноября, солнце мерцает на воде, в нужной степени освещающая его лицо.

И лицо арабского мальчика, сидящего в трусах в дальнем углу бассейна, его ноги плещутся в воде. Может быть, именно здесь кроется намек, который я искала: лицо этого мальчика. Хотя он всего лишь служит фоном, казалось бы, только случайным, взгляд его, устремленный в камеру, довольно серьезен, даже сердит. Брови нахмурены, губы плотно сжаты, на лице выражение, свойственное юношам постарше, и если присмотреться, то заметно, что его правая нога выглядывает из воды, готовясь нанести удар, который, однако, попадает только в воздух, но направлен, – так, по крайней мере, кажется, – в сторону фотокамеры. И фотографа. Может быть, то, что произошло на площади двое суток тому назад, снова воздвигло стену страха и этот мальчик, не понимающий даже полного смысла случившегося, каким-то образом это чувствует. Возможно, его родители или бабушка с дедушкой жили в арабской деревне Сатаф, обитатели которой покинули ее в сорок восьмом году и, в порыве ностальгии посетив источник, решили рассказать мальчику, кто именно изгнал

их отсюда?

Ялла, ялла. Видно, что ты слишком много времени провела в этой своей академии Бецалель, Ноа. Ты тоже начала сходить с ума? Ведь всего несколько минут назад мальчик попросил у вас глотнуть вашей кока-колы, а когда вы согласились, сказал: «Большое спасибо» – и улыбнулся обворожительной улыбкой. И вообще, какая связь между убийством Рабина и арабами? Уж лучше признать, что никаких намеков на этой фотографии нет. Или, возможно, намеки есть, но они откроются позднее. И такое иногда случается: ты смотришь на фотографию, которую уже тысячи раз видела, и неожиданно в глаза бросается новая деталь. Так родился мой самый удачный проект, который я представила в прошлом году. Просматривая фотографии своей семьи, я вдруг заметила лужу воды в нижнем углу одного из снимков. Фото было сделано летом – обжигающий свет израильского лета не оставлял места для сомнений – но лужа была большая, какие бывают только зимой. В середине августа я начала искать лужи в Тель-Авиве и близлежащих городах. На автостоянках. В промышленных зонах. На задних дворах продуктовых магазинов. Просто удивительно, как много я их нашла. Я фотографировала лужи в романтическом свете, будто снимаю фиорды в Норвегии, выбирая такой угол зрения, который создавал впечатление, что лужа значительно больше, чем в действительности. Этот свой проект я назвала «Летние лужи», и преподаватель, принимавший проект, прервал занятие на

середине, велел всем оставаться на своих местах и побежал за деканом факультета, потому что «он должен это увидеть».

На обратном пути из Сатафа мы поссорились, Амир и я. Словесная дискуссия, в которой мы запутались, превратилась каким-то образом в ожесточенный спор, исполненный горечи. Все началось с того, что я ему сказала: «Надоело мне жить в этой луже, пожирающей своих обитателей, и мне лично кажется, что сейчас все станет очень плохо, и я уже подумываю о том, чтобы вторую степень в области искусства получить за границей, скажем в Нью-Йорке». Амир сказал, что Америка – не такая уж большая находка, он целый год жил в Детройте со своими родителями, и там кладут слишком много льда в кока-колу, а когда идешь в клуб ИМКА играть в баскетбол, там стоят десять парней, и каждый из них бросает мяч в отдельную корзину, а кроме того, *халас*¹³, ему надоело переезжать, но я настаивала, напомнила о письме Моды из Южной Америки, которое он прочитал мне накануне, и сказала:

– Тебе не хочется немного переключиться и посидеть, целый день разглядывая индейских старушек?

Он презрительно фыркнул и произнес тоном всезнайки:

– Чепуха, куда бы ты ни ехал, – всюду берешь с собой самого себя. – Он включил радио громче, подавая тем самым знак, что он хочет завершить дискуссию, а я ему сказала, уже слегка раздраженно:

¹³ ХВАТИТ (араб.).

– Не надоели тебе еще эти тоскливые песни?

И он ответил:

– Нет! – И сделал звук еще громче и замкнулся в себе, словно сработал автомобильный замок, разом запирающий все двери, я буквально услышала щелчок, но не знала, как мне подобрать слова, чтобы смягчить его, поскольку не совсем поняла, что именно сделало его таким жестким. Когда мы добрались до дома, он сразу побежал к своим толстым книгам, и даже тогда, когда я встала за его спиной и сказала:

– Вот, у нас появился день, когда мы оба свободны, и просто жаль понапрасну тратить его на ссору.

Но он не пошел на примирение и даже головы не повернул в мою сторону. Тогда я пошла в гостиную, стала разглядывать ненавистную мне картину, ту, с грустным человеком, и начала молиться, чтобы Амир спорил со мной, чтобы встал со своего места, чтобы раскричался, потому что я не могу, когда ко мне относятся с явным пренебрежением, отталкивают меня, и я включила телевизор и выключила его, и вдруг вся наша квартира показалась мне слишком маленькой, слишком тесной, и рот мой наполнился вкусом поражения, и меня охватило чувство, что это не работает, и вся идея жить вместе закончится слезами, а попутно я еще запорю дипломный проект. Я вышла на улицу немного подышать воздухом, успокоиться, но было так холодно, что я побежала обратно, только в доме меня никто не ждал, кроме человека на картине, который, как и прежде, продолжал смотреть



Восемь лет мы с Моше не ссорились. С тех пор как познакомились. Возможно, так у нас и продолжалось бы и мы бы побили рекорд Гиннеса, если бы автомобиль с мегафоном не проехал по улице, приглашая жителей нашего микрорайона на собрание, которое состоится на площади перед мини-маркетом «Дога», где выступят великий раввин и певец Бени Эльбаз.

Мы сидели в гостиной, все было тихо и спокойно, смотрели «Колесо фортуны» с Эрезом Талем и Рут Гонзалес. Мы не голосовали за Рут, предпочитая Сигаль Шахмон, но в этот раз она была очаровательна, с ее кудряшками и акцентом.

– Выглядит совсем неплохо, эта Гонзалес, – сказала я Моше.

Он мне ответил:

– Да, но не так хорошо, как ты. – И поцеловал меня в плечо. А я ему сказала:

– Какой же ты смешной. Не каждую надо сравнивать со мной.

В душе я была рада, что он говорит мне это, и после того, как я дважды рожала, и бедра мои стали шире, и волосы не «полны блеска», как говорят в рекламе, и у меня есть да-

же маленькие морщинки вокруг глаз, когда я смеюсь. В качестве награды я погладила его по затылку, а пальцами второй руки продолжала расчесывать волосы Лирона, сидевшего слева от меня, и всякий раз произносившего буквы, которые появлялись на экране, показывая, что он уже знает весь алфавит на память, хотя иногда еще путает похожие – «гимел» и «заин». Лилах не спала, но лежала тихо, загипнотизированная телевизором. Студенты не включали громкую музыку. Авраам и Джина не появились в дверях с печеньем. Никто не звонил из Института опроса общественного мнения, чтобы выяснить, какова наша позиция после убийства главы правительства (с тех пор как я однажды согласилась ответить на их вопросы, они больше не оставляют нас в покое). В центре стояла миска с виноградом, в ней было две грозди – одна с черными, а другая с зелеными ягодами. Время от времени кто-нибудь отрывал виноградину.

В суматохе буден ты не останавливаешься, чтобы подумать о том хорошем, чем владеешь в этой жизни. Почти всегда твои мысли заняты тем, чего у тебя нет. Но в ту минуту, помню, я подумала: «Посмотри, как это красиво, Сима. У тебя есть твоя маленькая семья. Полная семья, как ты и мечтала, когда еще была девочкой». И тут, когда в телевизоре один инженер из Явне выиграл холодильник стоимостью в четыре тысячи шекелей и зазвучала музыка победы, в эту музыку ворвался голос из мегафона.

– Что нужно этому *алте захен*¹⁴ именно сейчас? – пробор-мотала я, все еще погруженная в приятные мысли, а Моше, убрав звук в телевизоре, сказал:

– Это не алте захен, Сима, ты послушай: «Приглашаются жители квартала! Бени Эльбаз на площади перед “Догой”!» – орал мегафон. И Моше добавил:

– Будет большое собрание, все идут туда, прибывает великий раввин и все лидеры движения. Будет что-то необычайное.

– *Ала кейф кефак*¹⁵, – сказала я, прибавив звук в телевизоре. Инженер из Явне выиграл еще два билета в Лондон и вышел в финал.

– Ты хочешь пойти? – спросил Моше.

– А зачем? Что мне до них? – ответила я.

Оба мы уставились в телевизор, не решаясь смотреть друг на друга. И тут он внезапно поднялся с дивана, с быстротой, ему совершенно не свойственной, встал передо мной, заслонив экран.

– Я не понимаю, Сима. Не повредит нам немного послушать слова Торы, что-нибудь об иудаизме. Это уж точно лучше, чем сидеть и смотреть всякую ерунду по телевизору.

– Папа, – запрыгал Лирон, – я тоже хочу пойти с тобой на собрание.

– Ни в коем случае, – сказала я, прежде чем Моше успел

¹⁴ Старьевщик (от *алте захен* – старые вещи, *идиши*).

¹⁵ Потрясающе! (*араб.*)

согласиться. – Уже поздно. Тебе пора спать. Я поверить не могу, что ты еще не в пижаме. Почистить зубы, пижама и спать. Давай!

Лирон отправился в свою комнату, не скрывая недовольства.

– Подвинься, пожалуйста, ты заслоняешь мне экран, – сказала я Моше. Он подчеркнуто неторопливо отошел в сторону. Мегафон, который уже проехал дальше, вновь вернулся на нашу улицу, но на сей раз из него доносилась только музыка.

– Ладно, я все-таки пойду, – произнес Моше, ожидая меня. – А когда я вернусь, – добавил он надутым тоном, совсем как у брата Менахема, – я хочу поговорить с тобой.

– А если ты не вернешься, дорогой мой муженек, то искать тебя в Бней-Браке? – спросила я, не отрывая глаз от телевизора.

– Да, в Бней-Браке, – повторил Моше, просто чтобы позлить меня, а затем надел теплую куртку с капюшоном и вышел из дома, хлопнув дверью.

Лилах заплакала. Я взяла ее на руки.

– Не бойся, миленькая, это только ветер, – сказала я неправду. И злилась на себя, что лгу ей. Ну и что, если она не понимает, все равно не стоит приучать ее ко лжи с малых лет. – Погляди, – показала я ей пальцем на телевизор, – это уже финал. – Я оторвала для нее несколько зеленых ви-

ноградin и поднесла к ее рту. Она оттолкнула мою руку и указала на черный виноград. – Нет проблем, возьми черный, но только не надо их бросать, – сказала я ей и оторвала от грозди две черные виноградины. Она с удовольствием сжевала их одну за другой и снова смотрела со мной «Колесо». В финале инженер из Явне выиграл автомобиль «Мицубиси», бесплатный бензин на год и стереоустановку для машины.



«Я помню день, когда Насер ушел в отставку, словно это было всего два дня назад», – так говорит моя мама, когда мы сидим перед телевизором и смотрим программу, посвященную памяти Рабина. Все уже знают, что сейчас она расскажет историю, которую мы уже слышали, но тем не менее хотим услышать снова, потому что мама всегда добавляет новые подробности, чтобы было интересно и тем, кто слушает это в сотый раз. Иногда, если у нее хорошее настроение, она может отпустить колкость и в наш, ее детей, адрес. Правда, уколы ее мелкие, комариные.

«Все собрались перед телевизором в кафе Джамиля, – начинает мама, и я из уважения к ней убавляю звук телевизора. – Это был уродливый коричневый телевизор, с высокой антенной, похожей на дерево, работавший ужасно, – продолжает она. – Каждые несколько секунд по экрану пробега-

ла сверху вниз широкая белая полоса, регулятор громкости был испорчен, но это был единственный телевизор в деревне, и никто не хотел пропустить прямую трансляцию. Люди стояли на столах, спиной прислонясь к стене, ведь главное – это видеть. *Шабаб*¹⁶, – и тут она обращает свой обвиняющий взгляд в мою сторону, – стояли так близко к девушкам, что некоторые из парней – да наставит их Аллах на путь истинный, – воспользовались моментом и дали волю рукам, побывавшим в местах запретных, а Джамиль сновал между столиками с тарелками хумуса и бобов и бутылками газировки. Люди ели с большим аппетитом, перед тем как заговорил Насер. *Яани*, все уже знали, по слухам и из еврейских газет, что война проиграна, но никто не верил, что он... вот так, вдруг. Все думали, что это будет еще одна из великих его речей, подобная тем, которые он уже произносил и от которых содрогается все твое тело, когда ты это слышишь. О боже, как же он умел говорить, этот Насер. Он повышал голос и понижал его, выбирал слова, подобно поэту. Но в тот день, как только он вышел на сцену, по взглядам людей, стоявших за его спиной, его помощников, было заметно, что не все в полном порядке. Лицо его было белым, как полдень, и лоб его так сильно потел, что даже в убогом телевизоре Джамиля можно было видеть крупные капли, и внезапно в кафе воцарилась полная тишина. Даже Марван, – тут она посмотрела на моего брата, который в эту секунду разговари-

¹⁶ Молодежь, склонная к хулиганским поступкам (*араб.*).

вал со своей женой Надей, – молчал, во что трудно поверить. А Насер подошел к микрофону и слабым голосом начал читать по бумажке: «Братья, – сказал он, и я превосходно помню его первую фразу, – мы всегда говорили друг с другом с открытым сердцем, и в дни побед, и в трудные времена, в часы сладкие, и в часы, исполненные горечи, ибо только так мы сможем найти правильный путь». И дальше он продолжил свою речь, объяснил, как американцы помогли израильтянам в этой войне, как израильские военно-воздушные силы первыми атаковали египетских солдат, которые сражались как герои, и иорданские солдаты сражались как герои, а в конце сказал, что он, Гамаль Абд-аль Насер, виновен, и он оставляет пост президента и с завтрашнего утра полностью находится в распоряжении народа, чтобы служить ему. Когда он закончил свою речь, собрал листки с текстом и сошел со сцены, можно было видеть, как один из его помощников носовым платком утирает глаза, мокрые от слез, и тут же, мгновенно, все мужчины в кафе прикоснулись мизинцем к уголку глаза, утирая соленые капли, даже самые большие и сильные люди, такие как Наджи Хусейн, *Алла ира́хмо*¹⁷, десять лет отсидевший в иорданской тюрьме, и Хусам Марния, который три раза подряд становился чемпионом Рамаллы по боксу, и ваш отец, герой, – тут она смотрит на моего отца, опустившего глаза, – тебе нечего стыдиться, *айю́ни*¹⁸, так это

¹⁷ Аллах да помилует его (*араб.*).

¹⁸ Глаза мои (*араб.*).

и есть, когда дают человеку надежду, а потом одним махом забирают ее, то это намного труднее, чем если бы вообще не было никакой надежды, этот Насер, с его смеющимися глазами и прекрасными словами об арабской нации, великой и могущественной, он был для меня великим отцом, отцом, который открыл нам веру в то, что в мире есть свет, и, перед тем как окажемся мы в раю, мы еще вернемся в нашу деревню, вернемся к своей земле, и сердце наше не будет более подобно фасолине, рассеченной надвое, и мы не будем больше кочевать с места на место, как цыгане».

Она поднимает ключ, висящий у нее на шее, ключ от старого дома, целует ржавое железо и продолжает:

«А потом египтяне вышли на улицы и легли на проезжую часть, умоляя Насера отменить свою отставку и вернуться на пост президента. Но это уже было совсем не то что прежде. Он уже был болен, слаб и через два года умер, и снова все пришли в кафе Джамия, – а здесь уже цены в иорданских динарах сменились на цены в израильских лирах, – чтобы посмотреть на похороны Насера».

Она делает глоток кофе из своей чашки, проверяет, все ли ее слушают и продолжает:

«И я скажу вам, что странно: теперь и Рабин мертв, тот самый Рабин, который прикончил Насера, тот Рабин, чьи солдаты стреляли над нашими головами в сорок восьмом году, Рабин-злодей, Рабин-дьявол, но вместо того чтобы веселиться, танцевать на улицах и хлопать в ладоши, мне грустно.

Поглядите на его внучку, красивую девочку, заливающуюся слезами. Похожа на своего деда, как Рауда, дочка Марвана, похожа на свою бабушку. Что поделаешь, мне грустно и жалко ее. Все лидеры всегда плохо кончают. И что теперь будет?»



Когда наша учительница говорила об убийстве Рабина, у нее было точно такое выражение лица, как тогда, когда она рассказывала о том, что Гиди погиб, и это сразу заставило меня заподозрить, что, возможно, это выражение лица, этот серьезный взгляд ее глаз, эти прикушенные губы – все это только маска, которую она надевает, когда считает, что сейчас должна быть грустной. Когда она закончила, то уселась на край стола своей задницей и попросила, чтобы дети рассказали, что они чувствуют. Как всегда в подобных ситуациях, когда не знаешь, что сказать, все стали повторять то, что уже сказала она, только другими словами. Я не поднял руку. Вот уже какое-то время я совсем не говорю в классе. Это началось в конце шивы, недели траура по Гиди, когда я вернулся в класс и не понимал, о чем говорят на уроке, потому что много пропустил, и тогда я подумал, что лучше молчать, и тогда никто не обратит внимание на то, что я просто не понимаю, а потом я привык молчать, даже когда хотел что-

то сказать, – например, про суд, который они устроили царю Давиду на уроке Танаха, когда дошли до отрывка, где Давид посылает Урию Хеттеянина на войну, – слова застряли у меня в горле, и было у меня такое чувство, что если открою рот, то начну заикаться. Хотя никогда в жизни не заикался.

Алон сказал, что убийство было жутким и ужасающим, а Ринат заявила, что убийство было ужасающим и жутким, я же про себя подумал: «Если не говоришь, у тебя есть больше времени подумать». Довольно странно, как мой мир перевернулся за последние несколько дней. До убийства моим бункером был дом, где запрещалось слушать музыку, запрещалось смеяться и запрещалось, обращаясь к маме, начинать фразу словом «*тагиди*» («скажи»), потому что это напоминало о Гиди, но, с другой стороны, существовали и такие люди, которые старались быть со мной предельно милыми и любезными, но при этом продолжали заниматься своими делами, радоваться, когда «Бейтар» выигрывал в субботу, лупить друг друга на переменах и жаловаться на цены в супермаркете. А теперь все перевернулось: люди на улице встревожены, ходят медленно, разговаривают тихо, но в моем доме все идет по-прежнему, как обычно. Как сказала мама Ницце Хадас вчера вечером: «Каждый оплакивает своих мертвых».

– Кто-нибудь хочет что-то добавить? – спросила учительница и обвела взглядом класс. Моя рука сама собой взметнулась вверх, но я силой вернул ее на место. Зачем? Все рав-

но они не поймут. Кроме того, я буду заикаться. Уж лучше подождать, когда я пойду играть в нарды с Амиром, он терпеливо относится к тому, что я думаю, даже если мысли мои странные. И он всегда говорит что-то интересное. Позавчера, например, я сказал ему, что думаю о людях, которые умирают, будто они не мертвы, а живут где-то там, над небесами и смотрят на нас, на тех, кто внизу. Он сказал, что в первый раз, когда он летел в Америку и самолет был выше облаков, он действительно искал там души умерших людей или Бога. Но не нашел. Правда, возможно, искал он не слишком внимательно.



Красный автобус «Эгед» мчится по улицам. Не останавливается на остановках, не открывает двери резким ударом. Три часа ночи. Водитель – Моше Закиян. Его пассажиры давно в постелях. Многоцветные проездные билеты не компостируются. Монеты не ложатся в его подставленную ладонь. Никто не спрашивает, прибывает ли он туда-то и туда-то. Никто не просит сдачи с такой-то суммы. Моше Закиян едет абсолютно один.

Он выезжает из своего квартала, поворачивает направо у моста Мевасерет, начинает движение в направлении Тель-Авива. Дорога пуста, воздух резкий, жалящий, и тьма загла-

тывает придорожные деревья. Покинув Кагель и миновав длинный спуск, Моше сильнее жмет педаль газа. Грузовик с включенными фарами дальнего света мчится по встречной полосе. Моше, рассердившись, тоже врубает слепящий дальний свет. Медальон с изображением меноры, висящий на шнурке под широким зеркалом заднего вида, прыгает перед ним, словно болельщик после забитого гола. Он нажимает кнопку «Поиск» на радиоприемнике. Радиостанция «Голос музыки». «Голос Рамаллы». Ничего этого он слушать не хочет. Наконец, как компромисс, останавливается на «Радио без перерыва», где всю ночь передают песни на иврите. Слова, которыми Сима выстрелила в него этим вечером, никак не идут из головы. «Забудь», «даже не думай», «через мой труп». А он? Что такого он предложил? Открыли хороший детский сад в конце улицы. Половина цены, вдвое больше учебных часов, отличное питание. Двое его друзей уже перевели туда своих детей, они вполне довольны. Менахем в Тверии очень воодушевлен. Ребенку не повредит окунуться немного в атмосферу иудаизма, еврейских духовных ценностей. Не говоря уже о том, что сэкономленные деньги помогут им купить дом побольше. С комнатой для гостей. Но только Сима упряма, как мул. Как она сказала? «Для тебя религия – это дом, а для меня – тюрьма». Трудная женщина, очень трудная. Моше распаляет свой гнев и еще сильнее жмет на педаль газа. Красный автобус бурей вырывается в долину Шаар ха-Гай, пролетает перекресток Латрун. Ладно,

она не хочет идти на собрание. И переходу Лирона в другой садик противится. Но на этом основании угрожать разводом? Можно поговорить. Найти компромисс. Что подумают дети, когда увидят отца в гостиной, а на нем трусы и майка? Лилах еще малышка, но Лирон уже в том возрасте, когда он в состоянии понять, что происходит. И почему именно он, Моше, должен спать на диване? Ведь у него болит спина, а диван слишком жесткий.

«Секунду, – он напрягает память. – Здесь, где дорога описывает дугу, говорят, есть полицейская камера. Может, сбросить скорость?»

Мигает диспетчерская вышка аэропорта. Один раз. Два. Колебания медальона «Бейтара» затихают. Пролетающий самолет освещает облако в небе. Внезапно накатила усталость, мышцы вдруг расслабились, и он решил не въезжать в огромный город. Когда он был ребенком, то потерялся там, на пляже Фришман, ему пришлось долгие часы ждать у станции спасателей, пока не пришли родители и не забрали его. Лучше с Тель-Авивом не связываться, особенно в эти часы, когда город погружен во мрак. Кроме того, завтра в семь утра он уже будет за рулем, ему предстоит поездка. Только Бог знает, который сейчас час. Он поднимается на развязку Ганот, с которой начинается его возвращение домой. Почти все песни по радио посвящены памяти Рабина: Шломо Арци, Авив Гефен, Иехуда Поликер: «Беру обратно я все сказанные жуткие слова». Моше вспоминает слова, которые он вы-

палил в разгаре ссоры, и его переполняет стыд. Ведь все, что он сказал ей, было проявлением слабости. Сима умеет проносить крученые фразы, каждое слово у нее аргументировано. Он все отлично понимает, но разговоры – как бы это сказать – не самая сильная его сторона. Неподалеку от Латруна, в пятнадцати километрах от дома, его внезапно одолел приступ тоски по ней. Перед глазами Моше возник ее образ: она в палате рожениц, на ее пухленьком лице выражение умиротворения, у нее на руках новорожденная Лилах. Ведь, по сути, она – это дом. И без нее он дышать не может. Восемь лет назад он впервые подошел к ней на перемене. На пути к фонтанчикам с питьевой водой он почувствовал, что идет как-то неуклюже, смешной походкой. В праздник Ханука они обменялись взглядами, поначалу быстрыми, будто вспышка, как бы случайными. А потом она улыбнулась. И он был покорен навсегда. Он знал каждую черточку ее лица. Знал уже, что ее светлые джинсы немного коротки и между краем брюк и верхом носков есть обнаженная часть ноги. Очень красивая. Подумалось ему, на основании ее улыбки, что и она к нему неравнодушна, но кто же может знать? В любом случае он чувствовал, что если до праздника Песах он не заговорит с ней, то просто с ума сойдет. А она, со своей стороны, попила, вытерла последние капли воды в уголках губ и прислонилась к бетонной стене за фонтанчиками, в тени. Он сделал последние несколько шагов, разделявших их, и еще раз повторил фразы, которые придумал накануне но-

чью, но, когда он уже стоял перед ней, случайный порыв ветра донес до его ноздрей аромат ее волос, густой, пьянящий, и у него вместо «Я хотел сказать тебе, что ты очень красивая» или «Скажи, ты еще и разговариваешь?» получилось только: «Хочешь завтра пойти в кино?»

Он поднимается на мост, ведущий в Мевасерет. Красный автобус мчится по улицам. Не останавливается на остановках. Не открывает двери с громким стуком. Сейчас половина пятого, утро уже наступило. Еще немного, думает Моше, и он ляжет в постель. Обнимет Симу сзади, будет шептать ей самые приятные слова. Если она проснется, возможно, они вместе пойдут посмотреть на детей. Он напомним ей, как он и она стояли там, у фонтанчиков, совсем недавно. Во всяком случае, он ни словом не напомним ей о детском садике. Ничего не горит, можно подождать до завтра. Ведь она в конце концов поймет, что ошибалась.



После того как заканчивается программа про Рабина, и мужчины на прощанье целуются у двери, и мой папа, собрав разбросанные по всей гостиной листы газеты «А-Нахár», отправляется почитать в постели, а в гостиной остаются только мама и я, мы смотрим египетский фильм, и я хочу ска-

зать ей: «Я-ўми¹⁹, я видел дом. Видел его собственными глазами». Но я знаю, что всякий раз, когда заходит разговор на эту тему, ей сразу становится плохо. Сорок лет уже прошло, а сердце все еще напоено обидой, как земля влагой после дождя.

Спустя несколько недель после завершения Шестидневной войны, летом 1967 года, люди начали посещать свои старые дома. Спокойно, не поднимая шума, целые семьи заполняли пикап, иногда – по десять человек в одной машине, и в путь. Тогда еще не было пяти КПП на каждые сто метров, как сегодня.

Некоторые на том месте, где стоял их дом, находили лишь груды камней. А приезжавшие в Аль-Кудс²⁰, где они раньше жили, видели свои дома, красивые, целые и невредимые, но теперь в них жили евреи. Издали они разглядывали прежние жилища и, если кто-нибудь спрашивал их, что они ищут, сразу же поворачивались и уходили. Возвратившиеся из поездки в Эль-Кастель привезли с собой сливы с дерева, того, кривого, что росло рядом с площадью, и фиги со смоковницы «*лиузайи*», плоды которой были большими, как груши. Они рассказывали, как евреи построили уродливые дома, которые не вписываются, не подходят к горам вокруг, и как они дали всем улицам названия войн – улица Независимости, улица Победы, улица Борьбы, а еще рассказали про

¹⁹ Ой, мамочка (*араб.*).

²⁰ Аль-Кудс – арабское название Иерусалима.

Азиза, единственного человека, который остался в деревне, ждал прихода солдат, а после того как был убит, превратился в черного демона; он входит в тела евреев и сводит их с ума.

И только мы не поехали. Мама не соглашалась. Сказала, что видеть не хочет. И знать не хочет. Слышать не хочет. «В мой дом, – заявляла она, и глаза ее сверкали от гнева, – я вернусь, чтобы жить в нем. Я не буду, как эти *феллахи*, которые стоят, как нищие, и ждут, может быть, какой-нибудь еврей пригласит их посидеть в гостиной, выпить кофе в их собственном доме. И ты тоже, – говорила она моему отцу, – не смей брать детей туда, иначе иди и поищи себе другую женщину».

Вот и сейчас у сидящей перед телевизором мамы глаза блестят, но не от злости. В египетском фильме Махмуд Ясин возвращается домой, в свою деревню, после шести лет в Каире, и только собака узнает его.

– *Ихраб бетак*, – проклинает она отца Махмуда Ясина, который смотрит на него из окна, – как же ты можешь не узнать своего собственного ребенка?!

Ей есть что сказать, моей маме, даже актерам в фильмах. Обычно арабские женщины молчат, прячутся за своими мужьями, но у нас мой папа, – с тех пор как у него отобрали землю и он должен был пойти работать простым рабочим, – он стал человеком слабым, впал в депрессию, *я-ани*, и мама говорит вместо него.

Я смотрю на собаку, облизывающую лицо Махмуда Ясина,

и вспоминаю историю, рассказанную мамой про собаку Асуад. Она всегда рассказывает эту историю, когда приезжают все дяди и тети в праздники Рамадан или Ид аль-Фитр и кто-то вспоминает сладости *катаеф*, которые готовила моя бабушка, и вскоре все начинают говорить о том доме. И тут мама говорит: «Вы помните Асуада, *эль-кальб*²¹?» Все восклицают: «*Табаа́н*, понятное дело!» И все поворачивают свои стулья в сторону мамы, чтобы снова услышать о той ночи, когда они бежали из деревни, о том, как Асуад, большой черный пес, ни за что не хотел покидать дом, громко выл и его завывания заполнили все ущелья, и даже когда его взяли на поводок, прочную железную цепь, он настойчиво тянул моего отца, который держал его, обратно в деревню. Он смотрел на всех, кто двигался в колонне, такими глазами, какими смотрят на лучшего друга, который оказался обманщиком. И на одной из остановок, когда папа не обратил на него должного внимания, он все-таки вырвался, и побежал в деревню с железной цепью на шее, и больше не вернулся. С тех пор они никогда его не видели. «Даже он был более верен дому, чем мы. Даже пес!» – такими словами мама всегда заканчивала этот рассказ, и все мои дяди и тети низко опускали головы от стыда. А потом пели «*маува́ль*» своей деревне. Обычно начинал мой отец, тихо и медленно, но постепенно все к нему присоединялись:

«Не сердись на нас, родина наша, деревня наша, сердись

²¹ Собака (*араб.*).

на тех, кто предал нас».

– Я думаю, он собирается просить прощения у своего сына, – скажет мама и укажет на отца Махмуда Ясина, сидящего в темноте и курящего кальян.

– *Мазбут, я-умми*²², – скажу я, хотя думаю о другом: сказать ей или нет? «Где твое достоинство?! – закричит она, – как ты пошел строить дома евреям в нашей деревне? Тебе не стыдно? У тебя есть право на эту землю, ты это знаешь? Это твоя земля, ты знаешь?» Так она скажет. И зачем же ей рассказывать? Кроме того, как я ей расскажу, если сам еще не уверен? А как можно быть уверенным, если я еще не был внутри дома? Еще немного, и мы закончим остов пристройки у Мадмони, а я все еще не входил в дом, Боже, прости меня.



– Если ты думаешь, что я тебя простила, ты совершаешь большую ошибку, – сказала я Моше и повернулась к нему спиной. Еще две минуты назад я просто теряла рассудок от беспокойства за него. Ведь на Моше это совсем не похоже – вот так, среди ночи, уходить из дома, когда ранним утром ему предстоит поездка. Каждые пять минут я смотрела на будильник, потом каждую минуту, а потом встала, пошла на

²² Верно, мамочка (араб.).

кухню и расправилась с целым пакетом кукурузных хлопьев, хотя знала, что Лирон огорчится, увидев утром, что хлопьев не осталось. Прочитала две статьи про Сигаль Шахмон, одну в журнале для женщин, вторую – в приложении к субботней газете. Сигаль сказала, что пока она детей не хочет, но самое главное для нее в жизни – это семья. Начитавшись Сигаль Шахмон, я готова была простить Моше; главное, чтобы он скорее вернулся, чтобы не заснул за рулем и не попал в аварию, как Турджи, его товарищ по работе, который заснул по дороге в Эйлат, а теперь ставит свою машину на парковке для инвалидов.

Но как только я услышала, что автобус уже свернул на нашу улицу, и поняла, что с Моше все в порядке, мне расхотелось мириться с ним. Коробку с кукурузными хлопьями я вернула в шкаф, прыгнула в постель, укрылась одеялом и притворилась, что сплю. Я слышала, как закрылись двери автобуса, как открылась входная дверь дома, слышала голос Моше, напевающего песню Эхуда Баная:

– После всего мы, может быть, уплывем на какой-нибудь остров, и дети будут бродить по берегу.

«Что он там мурлычет? – думала я. – С чего он так счастлив?» И вся наша ссора вернулась в мою голову, и все омерзительные слова, которые он тогда говорил, – какое там «говорил», орал: «Что хорошо для всех в нашем квартале, хорошо и для нас. Если у тебя нет Бога, значит, у тебя нет ничего». И прочие громкие слова, как это бывает у тех, кто не

уверен в своей правоте. Вот так же кричал мой отец перед тем, как ушел.

К тому времени, как Моше вышел из туалета и пришел в спальню, я уже забыла, что смягчилась, и только ждала, когда он швырнет хоть одно неправильное слово или забудет выключить свет в гостиной, чтобы у меня был повод пронзить его острой фразой, но он ничего не сказал, выключил свет и тихо разделся. Он не наткнулся на шкаф, осторожно подошел и лег в постель рядом со мной, не перетянув одеяло на себя. Но я не смогла сдержаться, и сказала то, что сказала, повернулась к нему спиной и прислонила нос к холодной стене, а когда он попытался погладить мои волосы сзади, сказала:

– Моше, не прикасайся ко мне. – И в моем тоне было столько отвращения, что даже я сама немного испугалась.



Когда закончился урок классного руководителя, я сложил вещи в рюкзак и застегнул пряжку. Ринат напомнила мне, что будет еще дополнительный урок английского. Я сказал, что знаю, но мне это до лампочки. В последнее время я часто сматываюсь с уроков. Но никто не говорит мне ни слова, потому что я брат погибшего солдата. Даже директриса пригласила меня в рощу за спортплощадкой на беседу, облоко-

тилась о дерево, испачкалась смолой и начала рассказывать мне, каким хорошим учеником был Гиди, будто я сам этого не знаю, и сказала, что ее дверь всегда открыта, – а это неправда, она всегда закрыта, – и я без всяких колебаний могу прийти к ней по любому делу или вопросу.

За стенами школы было жутко холодно, накрапывал мелкий дождик, и я побежал, но остановился через несколько метров, потому что рюкзак подпрыгивал на бегу и пенал вонзался мне в спину.

Когда я добрался до дома, заходить мне совсем не хотелось; мама, наверное, лежит в постели, она целый день отдыхает и смотрит на стену или на фотографию Гиди. Когда я войду, она скажет: «Здравствуй, Йбти, в холодильнике есть еда, разогрей себе». И я, сидя в одиночестве, стану есть шницель и картофельное пюре, которое будет твердым по краям, потому что сто лет пролежало в холодильнике. И к одноклассникам я пойти не могу, они еще на дополнительном уроке английского, кроме того, в последнее время мне с ними совсем не интересно. Все, что их занимает, это, к примеру, заглянуть с помощью зеркала девочкам под платья или разбить секретный лагерь в лесу под Мевасеретом, но это меня больше не интересует. То есть я таскаю с ними доски со стройки у Мадмони и обмениваюсь карточками с фотографиями футболистов «Бейтара», но во рту все время ощущается привкус, будто жуешь залежалую питу. А иногда их разговоры сильно меня раздражают, как, например, вчера, когда

Дрор сказал, что ненавидит своего старшего брата, потому что тот все время играет в стрелялки на компьютере, а ему не дает. Я хотел сказать ему: «Дрор, ты полный придурок, скажи спасибо, что у тебя вообще есть брат». Но я ничего не сказал.

Лучше уж пойти прямо к Амиру.

Я постучался в его дверь. Дожидаясь, пока услышу шаги и он мне откроет, я прижался ухом к дальней стене, проверяя, продолжают ли ссориться Моше и Сима. Вчера вечером мама и папа вышли в палисадник и приблизились к заборчику, чтобы лучше слышать крики, доносящиеся из дома Закиянов. Папа сказал:

– Шесть лет они живут рядом с нами, и ни разу я не слышал, чтобы они повысили голос.

А мама сказала:

– Какое счастье, что Джина плохо слышит, это разбило бы ее сердце.

А я стоял за ними и радовался. Со времен Гиди я не слышал, чтобы они так спокойно разговаривали друг с другом. Я надеялся, что Моше с Симой будут ссориться всю ночь.

Дверь мне открыла Ноа. Она такая высокая, что я едва дохожу ей до пупка.

– Ты ищешь Амира?

– Да.

– Его нет дома.

– Он в университете?

– Нет, он в клубе.

– В каком клубе?

Она посмотрела на меня так, как обычно на вас смотрят взрослые, прежде чем решить: подходит ли для детских ушей то, что они скажут, или лучше промолчать.

– Он волонтер в клубе, – произнесла она. – Но скажи, Йотам, может, вместо того чтобы стоять на улице и мокнуть, ты зайдешь в дом и подождешь его здесь?

Она принесла сухое полотенце и постелила его подо мной, чтобы я не намочил диван.

– В каком клубе Амир волонтер? «Инкогнито»? – спросил я еще раз. Когда я хочу получить ответ, то умею быть настойчивым.

Она засмеялась:

– Нет, это не танцевальный клуб, это клуб, где собираются больные люди, так сказать, люди, уже начинающие выздоравливать.

Я не понял:

– Что это значит? Чем они больны?

Ноа предложила мне выпить колы.

– Нет, спасибо, – отказался я. – Они больны гриппом? Стрептококковой инфекцией?

– Нет, – вздохнула она, – более того... Болезнь у них в голове. В сердце.

– Психи?

– Не совсем. Примерно. Полусумасшедшие. Полуно-

мальные.

– Полусумасшедшие, полунормальные? – Я вспомнил эпизод из сериала «Звездный путь», когда капитан Пикар возвращается на корабль с планеты медуз и начинает вести себя странно. Когда надо быть серьезным, он смеется; когда надо проявить решительность, растерян; вся команда испугана: это совсем не тот капитан, которого они знают, пока робот Дейта не обнаруживает, что медузы на той планете выделили какое-то вещество, оно впиталось в кожу капитана, а он не обратил на это внимания, но именно это вещество и сделало его не похожим на себя.

Я подумал, что Ноа, вероятно, не смотрела «Звездный путь», поэтому и не стал рассказывать ей о планете медуз. Я молчал и пощипывал обивку дивана.

– Йотам, скажи-ка, не хочешь ли ты помочь мне с домашним заданием? – неожиданно спросила Ноа.

– Почему бы и нет, – ответил я, хотя меня раздражало, что она говорит «домашнее задание», будто она школьница младших классов. Она отвела меня в другую комнату, к столу, у которого столешница была не из дерева, а из стекла, и лампа подсвечивала ее снизу, как луна. На столе ровными упорядоченными рядами лежали отснятые фотопленки.

– Это негативы, – сказала Ноа, – а этот стол называется световым столом. Если положить негативы на световой стол, можно выбрать лучшую фотографию из всех отснятых дублей, а потом отсканировать фото на компьютере. Хочешь по-

мочь мне с выбором?

– Конечно, хочу, – ответил я.

На всех фотографиях было примерно одно и то же: витрина обувного магазина. Но каждый раз в центре фотографии оказывалась туфелька на высоком каблуке. Иногда этикетка с ценой была в центре, а туфли окружали ее со всех сторон.

– Это наш учебный проект, который мы должны сделать, а тема проекта – «Религия и Бог», – пояснила Ноа. Я не понял, какая связь между Богом и обувью, но тем не менее выбрал две фотографии, которые, как мне показалось, выглядели лучше других, и указал на них.

– Почему именно эти? – спросила Ноа.

– Не знаю, – ответил я, – но, похоже, что на этих снимках все устроено красивее, чем на других.

– Композиция, – сказала Ноа.

– Компо что?

– Композиция. Так называют систему взаимоотношений между различными элементами изображения. И, по правде говоря, ты прав, Йогам. Композиция этих двух фотографий и в самом деле особенная.

В том же духе мы продолжали отбирать фотографии в соответствии с их композицией, а тем временем Ноа рассказывала мне и другие вещи, связанные с фотографией: о диафрагме, об экспонометре, об особом свете в начале и в конце каждого дня, который называется «волшебным светом». Рассказала еще и о тех днях, когда она просто выходит с фо-

тоаппаратом на улицу и ждет, что случится что-нибудь особенное прямо у нее на глазах. Иногда проходит целый день без всяких происшествий, а иногда неожиданный случай посылает ей прекрасный снимок, как, например, вчера, когда она только вышла из дома, а строители, работающие у Мадмони, как раз приехали, и все покинули пикап, а один задремал, остался в кабине. На голове у него была индейская шерстяная шапка яркой раскраски, в нашей стране увидеть такую можно только у вернувшихся из путешествия в Южную Америку. И у нее в животе появилось особое чувство, возникающее всегда, когда она видит то, что ей хочется сфотографировать, и из всех ощущений, существующих в мире, оно похоже на то, что испытываешь при виде желтого перца в супермаркете. Она спросила у строителя, обладателя шапки, может ли она его сфотографировать, и тот согласился. И вообще, она любит всякие неправильности и ошибки в этом мире. К примеру, пластиковый пакет, плавающий в воде, подобно медузе, или камень, выступающий из стены, как в доме Авраама и Джины, или поле между их квартирой и нашим домом, которое, на ее взгляд, – одна большая ошибка. Я не понял, почему поле – это ошибка, но спрашивать мне было неудобно, и поэтому я вместо этого спросил о черном баке, который стоял в углу комнаты.

– Это Джобо, – ответила Ноа. – В Джобо закладывается отснятая пленка, и Джобо превращает ее в негативы. Без Джобо невозможно начать процесс проявки фотопленки. – Ко-

гда она в четвертый раз произнесла «Джобо», меня охватил приступ смеха. Это название – Джобо – жутко меня насмешило, и как бы я ни прикусывал губы, никак не мог остановиться. Ноа пыталась сдержаться, но я в конце концов заразил и ее, и она тоже начала хохотать, перебрасывая из стороны в сторону свои длинные волосы, чтобы не попали ей в открытый рот. Внезапно я заметил, что она и вправду красивая, как сказал Амир своему другу по телефону. Особенно когда смеется. Через несколько секунд у меня началась икота, как это всегда со мной случается, когда я долго и без остановки смеюсь, но это только рассмешило нас еще больше. Если бы мама видела, что я так заливаюсь смехом, она уж точно изобразила бы на своем лице выражение «как тебе не стыдно», – так она делает со времен Гиди, если я смотрю смешную программу по телевизору, даже когда я стараюсь смотреть с выключенным звуком. Но мама этого не видела, и мы продолжали смеяться, пока у меня в животе не заболел «мускул смеха», а глаза Ноа не засверкали от обилия слез. Но тут вошел Амир. Как только мы увидели его лицо, то мигом перестали. Он, правда, улыбнулся мне и поцеловал в губы Ноа, но сразу было видно, что от этого клуба полунормальных-полупсихов он сам немного ошалел.

– Как прошло? – спросила его Ноа, и он, зигзагами расхаживая по комнате, начал объяснять:

– Нелегко, совсем нелегко.

Я взял в руки фотографию, начал рассматривать ее, чтобы

он подумал, что я не слушаю.

– Нава утверждает, что это из-за убийства Рабина, – сказал Амир, а я наблюдал за ним поверх фотографии, как сыщик. – Дело в том, – продолжал он, разговаривая руками, – что им нет дела до самого Рабина. Некоторые из них даже не знают, что он был премьер-министром. Но все эти поминальные церемонии, грустные песни и специальные программы по телевизору, – похоже, их эмоциональные антенны улавливают, что в идеальном мировом порядке что-то расшаталось, и это уводит почву у них из-под ног. Ты понимаешь, о чем я говорю? – спросил он у нее. Без моего желания, да еще в самый неподходящий момент, у меня вырвался неприятный звук отрыжки, и Ноа не успела ответить, что да, она понимает. Амир спросил меня с тревогой в голосе, хорошо ли я себя чувствую.

– Он в порядке, – сказала Ноа и улыбнулась мне так, будто у нас двоих есть секрет, о котором ни в коем случае нельзя рассказывать Амиру.

– Прекрасно, – сказал Амир нервным тоном, совсем ему не свойственным.

– Я пойду, – сказал я. Я чувствовал себя так, будто во время матча «Бейтара» я сижу на трибуне стадиона, куда, обойдя все заслоны, проникло слишком много безбилетников, и от тесноты просто невозможно дышать. Я чувствовал, что чем-то им мешаю, хотя и не был уверен. Действительно, чем я могу им мешать.

– Спасибо за все объяснения, – сказал я Ноа, и она улыбнулась.

– Это я должна сказать тебе спасибо, – ответила она, – благодаря тебе я выбрала действительно красивые фотографии.

– Не выпьешь стакан воды хотя бы? – спросил Амир.

– Нет, – ответил я, – дома обо мне уже, наверно, беспокоятся.



Ночью, после того как я вернулся из подвала-бомбоубежища, где собирались члены клуба «Рука помощи», мне приснился сон. По-видимому, он был важным, потому что я помню большую часть этого сна. Шмуэль, мужчина лет шестидесяти, с волосами, как солома, в потрескавшихся очках, стоял посреди нашей гостиной, излагая мне свою теорию, ту самую теорию, которую он объяснял несколько часов назад в реальности в «кофейном уголке» клуба (стол с отслаивающимся пластиковым покрытием, два стула, один со сломанной спинкой, сахар с комками, растворимый кофе «Элит», пастеризованное молоко, выдавшие виды чайные ложки).

– Мир, – объясняет он с жаром, – разделен на три цвета: красный, белый и прозрачный. Красный и белый олицетворяют две человеческие крайности, а прозрачный представ-

ляет срединный путь. Божественный компромисс. В политике, например, крайне правые – это белый цвет; Рабин, благословенна его память, был красным, а истинный путь, прозрачный, пролегает между ними. То же самое и с любовью. Мужчины – белые. Женщины – красные. Вот почему сердца разбиваются. А теперь, – тут Шмуэль наклонился и прошептал мне прямо в ухо, – посмотри на вашу квартиру, друг мой. Все здесь красное, белое и прозрачное.

Я окинул взглядом квартиру. Режиссер-постановщик сна переместил камеру и позволил мне с ужасом убедиться, что Шмуэль прав. Стулья были красными, стол – белым, а стена, отделяющая нас от семьи Закиян, прозрачной. Я мог видеть сквозь стену и Симу, и Моше в разгар их ссоры, но не слышал, что они говорят. На столе стояла прозрачная тарелка, справа от нее лежал красный нож, а слева – белая вилка.

– Но почему именно красный, белый и прозрачный? – спросил я Шмуэля. – Где логика?

Шмуэль пожал плечами и кивнул головой в сторону картины, висевшей на прозрачной стене, той самой картины, которая так раздражала Ноа: изображение мужчины, глядящего на улицу через окно. Оригинальные цвета картины – фиолетовый, черный и оранжевый – сами собой сменились на красный и белый. Этот образец современного искусства мне не понравился, к тому же было совершенно непонятно, почему Шмуэль стоит посреди моей гостиной, хотя он должен находиться в клубе, на своем месте. Я обратился к нему, что-

бы выяснить это обстоятельство. Но он исчез. Или, может быть, не исчез? Может, он просто прозрачный? Эта внутренняя мысль пронеслась в моей голове, но у меня не было времени проверить ее, потому что внезапно в окно сильно постучали. Я подошел, чтобы узнать, кто это, но ничего не мог увидеть, потому что окно было не прозрачным, а белым или матовым. По голосам я понял, что Ноа, Ицхак Рабин и какой-то мальчик, возможно Йотам, потеряли ключи и хотят, чтобы я им открыл. Я подошел к двери и подергал ее. Впустую. Я навалился на дверь плечом, но она не поддавалась. Я ударил дверь ногой, как в каратэ, но она не открылась. На этом заканчивается часть, которую я помню.



Утром, когда я проснулась, его рядом уже не было, но постель еще хранила тепло, а на подушке была вмятина в форме головы. В фильмах в подобных эпизодах мужчина после ссоры всегда оставляет женщине письмо с извинениями или покупает ей букет цветов, и хотя я знаю, что Моше не по части писем или букетов, я надеялась, что на кухонном столе меня кое-что ждет. Так обстоит дело с фильмами – они влияют на тебя, хотя ты отлично знаешь, что все это глупости. Когда на столе ничего не оказалось, кроме полупустой чашки черного кофе, я была разочарована. Лилах, которая по

утрам обычно спокойна и весела, хныкала. Эта малышка – антенна. Она улавливает все. Именно поэтому мы всегда стараемся спорить в спальне, за закрытыми дверями. Я поменяла ей подгузник, приготовила для нее нарезанный банан, как она любит. Тем временем к нам присоединился Лирон и попросил помочь ему зашнуровать ботинки. Я подогрела ему какао, в качестве компенсации за съеденные мной кукурузные хлопья добавив туда две дольки шоколада, надрезала кожуру апельсина, чтобы на большой перемене ему было легче его очистить, в тысячный раз объяснила ему, как делают петлю из шнурка и продевают через него петлю второго шнурка, и все это время пыталась обнаружить в нем отголоски вчерашнего спора, но ничего не увидела. Как обычно, он слишком быстро пил свое какао и, как обычно, немного обжег язык. Как обычно, он забыл вытащить уголки воротника и, как обычно, рассердился, когда я ему об этом сказала. И только у двери, после того как он привычно поцеловал меня в щеку, он вдруг обернулся и спросил:

– Я иду в детский сад Хани, верно?

И тогда я поняла, что он не только слышал нас, а еще и понял, поэтому я сказала: «Конечно!» – и быстро погладила его по волосам, чтобы он поторопился, а он поднял голову, будто хотел сказать мне что-то, но потом развернулся и ушел. Я наблюдала за ним, пока он не вошел в здание детского сада в конце улицы, и, как только он ушел, пожалела, что дала ему уйти вот так, без объяснений. Но что я могла объяс-

нить? Я не знала, как объяснить даже самой себе. Внезапно мне захотелось поговорить о происшедшем с подругой. Посоветоваться. Но с кем? Я взяла Лилах на руки, осторожно посадила ее в большую коляску, где она могла и стоять, лишь бы не начала снова плакать, и мысленно перебрала в голове всех своих подруг. Галит? Всегда говорит по телефону «да, да», но к концу беседы из ее вопросов становится ясно, что она не слушала. Каланит недавно родила близнецов, и разговаривать с ней надо короткими предложениями, потому что один из близнецов обязательно заорет и ты даже фразу не закончишь. Сигаль неделю тому назад как раз перевела своего сына в тот самый садик, о котором говорил Моше, и у нее уж точно готова целая речь на данную тему. Она, разумеется, за перевод. Люди всегда готовы превозносить сделанное ими, иначе почему они возвращаются из-за границы довольными? Я бы и в самом деле хотела хоть один раз встретить человека, вернувшегося из поездки за границу, который сообщил бы: «Было очень плохо». Еще, разумеется, есть моя сестра Мирит, но я заранее знаю, как она отреагирует на любой вопрос. Вся эта история, к примеру, сразу загонит ее в стресс. «Зачем вы ссорились? Почему он уехал глубокой ночью? Почему ты ему не уступила?» Мирит всегда за уступки. Вот уже полгода ее муж изменяет ей со своей подчиненной-военнослужащей, но Мирит закрывает на это глаза. Она говорит, что это у него пройдет, как будто это грипп. Если бы наша мама была жива, она бы показала ей, что это за грипп.

«Но мама в итоге осталась одна. – Я услышала, как Мирит говорит это в моей голове. – Ты забыла?» У мамы случился сердечный приступ, и прошло три часа, пока один из соседей не обратил на это внимание. «Приехавшие врачи скорой помощи сказали, что, если бы ее обнаружили вовремя, еще был шанс. Понимаешь? – продолжала Мирит. – Я знаю, что Дорон мне изменяет, но, по крайней мере, есть кому поинтересоваться из гостиной, все ли со мной в порядке, если я порежу себе палец ножом для салата».

За секунду до того, как я мысленно ответила Мирит, раздался звонок в дверь. Ноа, студентка. У них закончилось молоко.

– Заходи, заходи, – сказала я ей, – не стесняйся. – Ноа вошла в дом и, прежде чем я успела ее предупредить, ударилась головой о новый абажур.

– Что поделаешь, – сказала я, останавливая раскачивающийся абажур, – все в этом доме лилипуты.

– И у меня в семье все маленькие, – сказала она, потирая ушибленное место.

– Как же ты такой получилась? – спросила я.

– Не знаю. Моя бабушка повыше, так что, возможно, это от нее, – пояснила она.

– Почти не осталось, – извинилась я, потряхивая пустым картонным пакетом. – Может, выпьешь кофе здесь? – И, не дожидаясь ответа, налила в электрический чайник воду и достала чашки.

Она заговорила мне в спину: ей как раз вполне хорошо с ее ростом. В детстве она была замкнутой, с трудом выдавливала из себя слова, и ее замечали только потому, что она была выше всех. Без своего роста была бы вообще прозрачной.

– Ладно, – сказала я, – сегодня тебе вполне хватает внимания, с твоими ногами ты запросто могла бы быть манекенщицей.

– Чепуха, – запротестовала она и похлопала себя по бедрам. А я подумала: «Дай Бог мне такие».

Я налила в чашки кофе и молоко, подкатила к столу коляску с Лилах и села.

– А какой девочкой ты была в детстве? – спросила она, дую на кофе.

– Я? – засмеялась я. – Со мной было все наоборот. Я всегда была самой маленькой, последней в шеренге на уроках физкультуры, и поэтому у меня не было выбора, я должна была научиться разговаривать, озвучивать себя, как говорится. С самого рождения у меня было свое мнение обо всем. Я заботилась о том, чтобы все знали, кто такая Сима. Кроме того, так меня воспитывала мама: «Если у тебя есть что сказать – говори! Никого не бойся». Потом, когда я выросла и часами спорила с ней, чтобы она позволила мне остаться и посмотреть «Даллас», она, пожалуй, сожалела о том, что так меня воспитала, и говорила мне: «*Расек пхаль хазар*, твоя голова тверда, как камень». Но в душе, думаю, она гордилась мной. И по сей день я такая упрямая. Вот, вчера, напри-

мер... – Я произнесла это и замолчала.

– Что же было вчера? – спросила Ноа. Мне понравился ее тон. Заинтересованный, но не чрезмерно настойчивый. Хочет знать, но не обязательно все. Я начала рассказывать ей о ссоре с Моше и, слово за слово, вдруг заметила, что говорю о семье Моше, о том, как с первой же семейной трапезы, еще до того, как мы с Моше поженились, они меня удочерили, но, с другой стороны, всегда давали мне почувствовать, что я такая дочь, которая вызывает у них разочарование, что я не умею готовить для Моше *кубэ хаму́ста* так, как он это любит, что у меня слишком много мнений, что я плохо убираю в доме. Если я предлагала им кофе сразу после того, как они заходили в дом, они обижались и Моше тихо объяснял мне на кухне, что не следует сначала предлагать кофе, потому что это означает, будто я поскупилась на еду. Но если я не предлагала кофе, они тоже обижались. Я уже восемь лет с Моше, и иногда у меня такое чувство, что мне не хватит всей жизни, чтобы выучить правила его семьи.

– Конечно, – сказала Ноа и коснулась моего локтя, – я точно знаю, о чем ты говоришь.

Я ждала, что она расскажет немного о семье Амира, но она молчала, и я продолжала рассказывать о моей маме, о том, какой особенной женщиной она была, как она растила нас одна, после того как наш папа «укрепился в вере» и исчез, и как она ходила в одном и том же платье все лето, чтобы у нее остались деньги для книг и тетрадей для нас, и как за

неделю до начала занятий в школе она сидела со мной и Мирит, помогала обернуть наши книги цветной бумагой и наклеить наклейку на обложку. Она обертывала книги каким-то особым способом, я этому не научилась, не знаю, как мама это делала, но все учительницы приходили в восторг от моих книг, они поднимали их, показывая всем, и говорили: «Посмотрите, дети, все должны поучиться у Симы». Я говорила и говорила без перерыва, а Ноа молчала, и по ее глазам было видно, что она внимательно слушает, и Лилах тоже была спокойной, наверно, от удивления, ведь в своей жизни она никогда не слышала, чтобы ее мама говорила так много, не переставая, а когда я закончила, – не то чтобы закончила, а скорее устала, – обнаружила, что кофе уже холодный, и встала, чтобы сварить черный кофе, потому что молока больше не было, но еще и потому, что внезапно, не знаю отчего, мне стало стыдно смотреть Ноа в глаза.



Всякий раз, когда Амира что-то удручает, у него появляется тик. Посторонние не замечают. Зато Ноа хорошо видит, как у него начинает дрожать нижняя губа. А сама Ноа? У нее это макушка. Каждый раз, когда приближается срок сдачи работ в академии Бецалель, все черты ее лица сжимаются в одну болевую точку. А у хозяйина дома – это живот. Сла-

бое место. Когда он после призыва в армию проходил курс молодого бойца, его живот вышел из строя. И в последнюю неделю из-за этой истории с детсадом его угнетенное состояние отзывается изжогой там, внутри. А у Симы, его жены? Ни царапины. Даже когда Лирон бесится. Даже когда Моше сводит ее с ума. Даже в последнюю ссору. Может, это потому, что Сима такая: ничего не утаивает. Все всегда выкладывает как есть.

А по ту сторону поля мать Йотама сметает в совок выпавшие волосы. Почти каждый день, с тех пор, как погиб Гиди. А волосы у нее были такими длинными и густыми. Отец Йотама любил перебирать их пальцами перед сном. Или с нежностью скользил по ним ото лба и выше. Теперь он не прикасается к ней, и она к нему не прикасается. Только изредка ночью, непреднамеренно: бедро касается бедра, живот прижимается к спине, голова опирается на грудь. А утром как ни в чем не бывало каждый живет своей жизнью. Она чистит зубы. Он одевается. Она расчесывает свои редющие волосы. Он может порезаться бритвой, но не ругается. Иногда, на работе, у него случается приступ астмы. В детстве у него была астма, а сейчас, после всего, она вернулась. Врач из больничной кассы отправил его покупать ингалятор, дали ему один голубого цвета. И каждый вечер он достает его из кармана рубашки и кладет рядом с лампой для чтения. Но не говорит об этом, а она не спрашивает.



Я знал, что это случится. Сколько можно не готовить домашние задания, не отвечать на уроках, не приносить атлас на уроки географии? Я знал, что в конце концов кому-то это надоест. И сегодня, после того как я четыре раза выходил в туалет на уроке обществоведения и в коридоре встретил свою классную руководительницу, это и в самом деле случилось. В конце занятий она вошла в класс и вручила мне письмо в белом конверте с эмблемой школы для господина и госпожи Авнери, и я, хотя конверт не открывал, отлично знал, что написано в письме. Спад в учебе, спад в дисциплине, спад в общении, спад, спад! Смешное слово: спадспад. Как тамтам или канкан... Письмо это госпоже Авнери я не передал. Ведь я заранее знаю все, что она мне скажет. Я просто реально слышу ее голос: «Ты ведь знаешь, что нам трудно, Йоти, так почему же ты доставляешь своему отцу и мне лишние неприятности?» Вместо этого я засунул конверт под памятник Гиди, который сложил из камней в поле. На минуту мне показалось, что сам Гиди сидит на одной из ветвей большого дерева, над домом Ноа и Амира, и смотрит на меня, разочарованный моим поведением, но я постарался не замечать этого, продолжая добавлять камни по бокам, так, чтобы письма не было видно, а в промежутки между камнями добавил камешки поменьше и немного земли. В кон-

це концов моя классная руководительница, вероятно, позволит маме, но пока у меня есть несколько дней. Я влез в свою комнату через окно, схватил доску, на которой мы с Амиром играли в шашки, бегом пересек поле. Я стоял у двери Ноа и Амира. Надеялся, что кто-нибудь из них окажется дома один, и неважно, кто именно, мне все равно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.